

Л. В. ЩЕРБА

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ
ПО
РУССКОМУ
ЯЗЫКУ

У Ч П Е Д Г И З
1957




*Академия наук СССР
Отделение литературы и языка*

АКАДЕМИК

Л. В. ЩЕРБА



ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ
ПО
РУССКОМУ
ЯЗЫКУ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
МОСКВА — 1957

*Издание осуществлено под наблюдением
Комиссии по истории филологических наук
при Отделении литературы и языка
Академии наук СССР.*

**Работа по подбору текстов, редактированию их
и по составлению примечаний выполнена
*М. И. МАТУСЕВИЧ.***

ПРЕДИСЛОВИЕ

Академик Лев Владимирович Щерба (1880—1944) принадлежит к числу выдающихся русских лингвистов.

Многие научные идеи Л. В. Щербы за годы, прошедшие после его смерти, не только не утратили своей актуальности, но прочно вошли в фонд нашего языкознания. Однако для того чтобы проследить ход мысли ученого, очень тонкой и глубокой, с первого взгляда иногда парадоксальной, нужно иметь возможность прочесть его работы не в пересказе или в цитатах, а целиком, в подлиннике. Л. В. Щерба нередко высказывал свои идеи то в статьях, то в застенографированных выступлениях, помещенных в изданиях, ставших сейчас уже библиографической редкостью. Вследствие этого и родилась мысль о предлагаемой вниманию читателей книге, представляющей переиздание ряда работ Л. В. Щербы и опубликование некоторых, еще не напечатанных.

Так как книга предназначена преимущественно для преподавателей русского языка, то в нее вошли только те работы, в которых затрагиваются вопросы, так или иначе связанные с русским языком, его орфоэпией и орфографией, с методикой обучения.

Некоторые из статей потребовали небольших примечаний, которые и помещены в конце книги; ссылки на них помечены цифрами.

Вся жизнь Л. В. Щербы была тесно связана с преподаванием русского языка в школе. По окончании 2-й Киевской гимназии, в 1898 г., Л. В. Щерба поступает на естественный факультет Киевского университета, но уже через год он переходит на историко-филологический факультет Петербургского университета, „желая стать преподавателем русского языка и литературы, что являлось моей заветной мечтой с юношеских лет“, — как пишет он в одной из своих автобиографий.

В университете Л. В. Щерба увлекся лекциями И. А. Бодуэна де Куртенэ, его оригинальной научной мыслью и стал заниматься под его руководством. В 1903 году Л. В. Щерба кончает университет и Бодуэн оставляет его для дальнейшей научной работы при кафедре сравнительной грамматики и санскрита.

Научная работа увлекает Льва Владимировича, но он не забывает и своей юношеской мечты — стать преподавателем русского языка и словесности. Параллельно со сдачей магистерских экзаменов (с 1903 по 1906 г.) Л. В. Щерба

работает в 1-м кадетском корпусе, где ведет русский язык, и в Петербургском учительском институте, где читает лекции по грамматике русского языка. Уже в 1903 г. он выступает на 1-м съезде преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях с докладом „О служебном и самостоятельном значении грамматики как учебного предмета“, в котором излагает новые по тому времени идеи. Эта первая научная работа Льва Владимировича была опубликована в „Трудах“ съезда.

Тогда же Л. В. Щерба начинает работать в созданной Академией наук комиссии по вопросу о русском правописании — дело, которому он посвящает много времени и труда в течение всей своей научной жизни.

С 1906 по 1909 г. Л. В. Щерба проводит в заграничной командировке, данной ему университетом. Он едет в Германию и Северную Италию, где изучает различные говоры (в частности, мужаковский говор лужицкого языка), затем во Францию, где знакомится с лабораторией экспериментальной фонетики в Коллеж де Франс в Париже, затем в Прагу, где изучает чешский язык. По возвращении в Петербург с 1909 по 1916 г. Лев Владимирович обрабатывает собранный материал и пишет две свои диссертации: магистерскую „Русские гласные в качественном и количественном отношении“, которую защищает в 1912 г., и докторскую „Восточнолужицкое наречие“, которую защищает в 1915 г. В 1916 г. Л. В. Щерба избирается профессором Петроградского университета.

Однако наряду с этой кипучей научной работой Лев Владимирович не прекращает и большой административно-педагогической работы. В 1913 г. он становится директором Курсов иностранных языков Бобрищевой-Пушкиной. Не бросает он и школы: в течение ряда лет Л. В. Щерба был председателем педагогического совета женской гимназии А. П. Шуйской, а когда после Великой Октябрьской социалистической революции на основе гимназии создается 1-я единая трудовая школа Петроградского района, он остается ее директором.

Лев Владимирович сознательно берет на себя эти обязанности, чтобы иметь возможность проводить в жизнь свои идеи, чтобы влиять на преподавание языка, стремится поднять преподавание языка в школе до уровня современных научных достижений, изгнать из него рутину. Широта мысли Л. В. Щербы по этому поводу видна из названия его доклада в 1917 г. на Первом Всероссийском съезде преподавателей русского языка средней школы — „Филология как одна из основ общего образования“ и тезисов к нему*.

Революция способствовала широкому размаху научно-педагогической деятельности Л. В. Щербы как в университете, так и вне его; не теряется также и связь со школой. Он состоит в течение ряда лет председателем Общества изучения и преподавания языка и словесности, которое было организовано в 1925 г. при Государственном институте научной педагогики, является и председателем его иностранной секции.

Начиная с 1920 г. Л. В. Щерба организует в университете Лингвистическое общество, которое является продолжением лингвистической секции Нефилологического общества, существовавшего при университете до революции.

* Сам доклад, к сожалению, не сохранился.

С 1923 г. начинают выходить под редакцией Л. В. Щербы сборники „Русская речь“. Задачей, которую ставил перед собой Л. В. Щерба, так же как и другие участники „Русской речи“, была популяризация языкознания как науки о выразительных средствах языка. С 1923 по 1928 г. вышло четыре выпуска, в которых принимали участие Д. Н. Ушаков, В. И. Чернышев, Б. А. Ларин, С. И. Бернштейн, В. В. Виноградов, Л. П. Якубинский и др. В следующие годы это издание прекращается, но Лев Владимирович не оставляет мысли о нем, и в 1943 г., после своего избрания действительным членом Академии наук СССР, он получает от президиума академии разрешение на периодическое издание „Русской речи“, которую представляет себе как продолжение печатавшейся ранее. Болезнь и смерть прервали его работу, и „Русская речь“ больше так и не появилась.

С 1924 г. после избрания Л. В. Щербы членом-корреспондентом Академии наук он входит в Словарную комиссию и начинает работу над словарем. Это новое для Льва Владимировича дело захватывает его, он с увлечением занимается составлением одного из выпусков словаря, и отныне словарная работа становится одним из его любимых занятий до конца жизни.

В течение 20-х годов Л. В. Щерба ведет упорную борьбу с формальным направлением в грамматике, вопросы преподавания которой всегда находятся в центре его внимания. С 1926 по 1929 г. он принимает участие в работе по обследованию грамотности учащихся, проводившейся грамматическим кружком при кабинете родного языка Института научной педагогики, и составляет оригинальные морфологические таблицы*.

За период 20-х годов Л. В. Щерба опубликовал ряд статей, касающихся русского языка и его преподавания, как-то: „Основные принципы орфографии и их социальное значение“, „Новейшие течения в методике преподавания родного языка“, „Безграмотность и ее причины“, „О частях речи в русском языке“ и др.

В 30-е годы Лев Владимирович начал заниматься словарной работой в другом ее аспекте, а именно — двуязычным русско-французским словарем. В результате его длительной работы над словарями разного типа появилась впоследствии (в 1940 г.) теоретическая статья „Опыт общей теории лексикографии“, которая подводит итог его деятельности в этой области.

Затем в эти же годы (в 1937 г.) выходит книга „Фонетика французского языка“, являющаяся результатом его двадцатилетнего преподавания французского произношения.

В это время Л. В. Щерба много занимается синтаксисом и в конце 30-х годов делает ряд докладов на синтаксические темы, в которых развивает теорию синтагмы, говорит о грамматическом значении интонации, об одночленном и двучленном построении фразы.

Тогда же Льва Владимировича привлекают к работе по переводу письменности различных народов Советского Союза с латинского алфавита на русский, которую он с успехом проводит.

В области школьно-педагогической Л. В. Щерба участвует в работах по орфографии и грамматике русского языка. Он входит в состав коллегии,

* Они были впоследствии напечатаны в „Русской грамматике для взрослых“ С. Г. Бархударова.

редактирующей стабильный школьный учебник русской грамматики С. Г. Бархударова, и принимает участие в проекте составления орфографического справочника Орфографической комиссии Академии наук. В 1939 г. он входит в состав Правительственной комиссии по разработке единой орфографии и пунктуации и участвует в составлении проекта свода правил орфографии и пунктуации русского языка.

С 1938 г. Академия наук начинает работу по написанию нормативной грамматики русского языка, и Л. В. Щерба входит в состав редакционной коллегии. Ему поручается редакция первого тома, в который вошли фонетика и морфология и где он должен был писать фонетику. Однако Лев Владимирович успел написать лишь сравнительно небольшую ее часть и только начал редактирование морфологии.

В 1941 г. в связи с военными событиями Лев Владимирович эвакуируется в город Молотовск Кировской области, где работает в научно-исследовательских институтах, переведенных туда временно из Москвы. Там он пишет две свои книги: „Преподавание иностранных языков в средней школе“ * и „Теория русского письма“. Обе книги не были закончены.

По переезде в Москву летом 1943 г. Л. В. Щерба с головой уходит в научно-исследовательскую и организационную деятельность. Помимо работы в Московском университете, куда его приглашают с осени 1943 г., в Институте школ и Институте дефектологии, Лев Владимирович участвует в составлении и рецензировании учебных планов и программ средней школы и выступает с докладом „Система учебников и учебных пособий по русскому языку в средней школе“. К сожалению, сохранились только тезисы доклада, которые и публикуются в данной книге.

В сентябре 1943 г. Л. В. Щерба избирается действительным членом Академии наук СССР; он становится председателем Диалектологической комиссии и входит в состав сотрудников Института русского языка.

В марте 1944 г., после создания Академии педагогических наук РСФСР, Л. В. Щерба утверждается ее действительным членом. Институт школ, где он работал, переименовывается в Институт методов обучения, и акад. Щерба становится во главе историко-филологического отдела.

В июле 1944 г. Л. В. Щерба проводит в Вологде диалектологическую конференцию по севернорусским говорам и параллельно ведет для ее участников семинар по фонетике.

С августа Лев Владимирович серьезно болен, но еще работает. Будучи в больнице, он написал полностью свою последнюю работу „Очередные проблемы языковедения“, которая вышла в свет уже после его смерти. 26 декабря 1944 г. акад. Л. В. Щерба скончался.

Научное наследие акад. Л. В. Щербы представляет собой большое количество работ, относящихся к самым разнообразным отраслям языковедения, причем некоторые из них на первый взгляд кажутся весьма отдаленными друг

* Эта книга была издана посмертно издательством Академии педагогических наук РСФСР.

от друга: здесь работы по фонетике и по грамматике, по диалектологии и по методике преподавания языка, по орфографии и по лексикографии и т. д. Однако все они объединены живым интересом ученого к современному языку, который и связывает между собой все эти разнообразные труды.

Отсюда вытекает прежде всего глубокий интерес к фонетике современных языков, которой посвящено большое количество трудов Л. В. Щербы. Фонетикой он заинтересовался еще в студенческие годы, и первая его работа — дипломное сочинение — была написана на фонетическую тему. Затем он избрал темой своей магистерской диссертации — „Русские гласные в качественном и количественном отношении“ — один из вопросов фонетики русского языка. В дальнейшем Л. В. Щерба посвятил много работ вопросам общей фонетики и фонетики разных языков, считая это своей основной специальностью. И действительно, Л. В. Щерба известен прежде всего как фонетик, создавший свою теорию фонемы* и много работавший по вопросам общей фонетики** и фонетики отдельных языков. К сожалению, труд, который был задуман им и который должен был охватить все, что он сделал в области общей фонетики — „Курс общей фонетики“, — остался ненаписанным. Из работ по фонетике отдельных языков наиболее известна (кроме уже упомянутой его магистерской диссертации) „Фонетика французского языка“, вышедшая в 1955 г. пятым изданием; раздел фонетики в книге „Грамматика русского языка“ (т. 1, изд. АН СССР, Москва, 1952) был им не закончен.

Интересом к живому языку вызваны и его работы в области русского языка, помещенные в данной книге. В них Л. В. Щерба анализирует вопросы русской морфологии, дает тонкий анализ стихотворных текстов, говорит о нормах литературного произношения, о литературном языке и о многих других вопросах, касающихся современного русского языка.

Вопросы лексики особенно тонко разрабатывались Л. В. Щербой в словарях, как в толковом русском академическом словаре***, так и в переводном русско-французском****. Вопреки установившемуся взгляду на так называемое „составление“ словарей как на работу, не носящую научного характера, Л. В. Щерба смотрит на свои статьи в толковом русском словаре как на маленькие монографии, требующие от него большой научной работы, долгих размышлений над разными значениями слов. Л. В. Щерба создает глубоко продуманную систему значений каждого слова, выделяет оттенки значений, их употребление, глубоко вдумываясь в имеющиеся примеры. Его соображения по поводу разных типов словарей изложены им в „Опыте общей теории лексикографии“, а замечания по поводу переводного словаря — в предисловии

* По вопросу о фонеме в понимании Л. В. Щербы см. статьи: Л. Р. Зиндер, Л. В. Щерба и фонология, в сборнике „Памяти академика Л. В. Щербы“, Ленинград, 1951; Л. Р. Зиндер и М. И. Матусевич, К истории учения о фонеме, «Известия АН СССР», т. XII, вып. 1, 1953.

** По этому поводу см. статью М. И. Матусевич, Л. В. Щерба как фонетик, в сборнике „Памяти академика Л. В. Щербы“, Л., 1951.

*** „Словарь русского языка“, т. IX, вып. 1, *И — идеализироваться*, изд. АН СССР, 1935.

**** Л. В. Щерба и М. И. Матусевич, Русско-французский словарь, изд. 4, 1955.

к русско-французскому словарю. Л. В. Щерба по праву считается одним из лучших русских лексикографов*.

Этим же интересом к живому языку объясняются и его постоянные занятия методикой преподавания современных языков, как родного, так и иностранных, его участие в совещаниях и конференциях, в разработке разного рода пособий для средней школы, учебников и т. п. Интерес к методике преподавания выделяет Л. В. Щербу из всех русских ученых-языковедов; это сказалось прежде всего в ряде его статей по методике**, в книге, вышедшей уже после его смерти и оставшейся незаконченной, — „Преподавание иностранных языков в средней школе“ и, наконец, в одной из его последних работ, которая не была издана и публикуется, как уже упомянулось, в данной книге впервые, — „Система учебников и учебных пособий по русскому языку в средней школе“ (тезисы доклада).

Принимая во внимание живой ум Л. В. Щербы, его постоянное стремление вдумываться в язык, его нелюбовь к голым схемам и упрощенным классификациям, естественно и его отрицательное отношение к формальному направлению в грамматике, которое существовало в преподавании языков начиная с 20-х годов. Во всех своих работах Л. В. Щерба всегда настаивал на том, что нужно думать над языковыми явлениями, а не просто наклеивать на них те или иные ярлыки, а затем классифицировать. В своем полемическом задоре Л. В. Щерба иногда заходил слишком далеко, и мы не со всем можем сейчас согласиться, но это не должно нас смущать, так как его идеи всегда будят мысль, а это — драгоценное свойство всякого человека, занимающегося языком.

И, наконец, у Л. В. Щербы имеется еще одно качество, которое выдвигает его в первые ряды наших языковедов. Во всех своих работах он стремится свести факты отдельных языков к общим проблемам языковедения. Так, он говорит в одной из своих автобиографий: „Интересы мои: теория языка вообще“. В. В. Виноградов дает очень удачную характеристику Л. В. Щербы: „Для других [ученых] — общие проблемы языковедения всегда стоят на первом плане. В какую бы глубину конкретного изучения того или иного языка и даже единичного языкового факта они ни спускались, на все они смотрят с точки зрения общей теории языка... Таковы в истории русского языкознания И. А. Бодуэн де Куртенэ и А. А. Потебня. К этому же типу лингвистов следует отнести и покойного академика Льва Владимировича Щербу“***.

Под влиянием своего учителя, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Л. В. Щерба в начале своей научной деятельности разделял многие предрассудки и заблуждения субъективной идеалистической психологии. Однако с середины 20-х годов он подвергает свои взгляды коренному пересмотру и все больше уходит от прежних психологических трактовок к материалистическому толкованию языка. В его понимании языковая система — это то, что объективно заложено в данном языковом материале и что проявляется в индивидуальных речевых системах. Больше всего боялся Л. В. Щерба при изучении какой-либо языковой

* О работе Л. В. Щербы в этой области см. статью Е. С. Истриной „Л. В. Щерба как лексикограф и лексиколог“ в сборнике „Памяти академика Л. В. Щербы“.

** См. раздел „Методика“ в прилагаемой в конце книги библиографии.

*** В. В. Виноградов, Общелингвистические и грамматические взгляды акад. Л. В. Щербы, в сборнике „Памяти академика Л. В. Щербы“.

системы предвзятых мыслей, боялся навязывать изучаемому языку несвойственные ему категории. Он всегда предостерегал от голых схем, классификаций, в основе которых лежит упрощенчество. Л. В. Щерба ничего не упрощает, он смотрит на язык, как на одно из явлений жизни, и не считает возможным упрощать то, что по природе своей, как и сама жизнь, является сложным.

Свои взгляды на язык Л. В. Щерба изложил в статье „О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании“ („Известия АН СССР“, 1931), а также в статье, опубликованной уже после его смерти, „Очередные проблемы языковедения“ („Известия АН СССР“, т. IV, вып. 5, 1945).

Акад. Л. В. Щерба был глубоко оригинальным ученым, больше всего ценившим новые и свежие мысли. Этими мыслями богаты все его работы, в них находило выражение его все время менявшееся и углублявшееся лингвистическое мировоззрение.

Жизнь Л. В. Щербы оборвалась в период расцвета его научно-педагогической деятельности. Некоторые его работы остались незаконченными, а многие, задуманные им, ненаписанными. На обязанности его учеников лежит опубликовать его неизданные работы, а также развить многие из его плодотворных идей.

М. И. Матусевич



О СЛУЖЕБНОМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ ГРАММАТИКИ КАК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

[ТРУДЫ 1-ГО СЪЕЗДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВОЕННО-УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ, СПБ, 1904] ¹

Многие соображения, которые я собираюсь предложить вниманию съезда, далеко не новы и имеют свое прошлое; но за недостатком времени я вынужден совершенно не касаться истории занимающих меня вопросов, в чем и прошу наперед извинения. Кроме того, должен сказать, что многое в моем реферате заимствовано мною сознательно и бессознательно из лекций и бесед проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ, к ученикам которого я имею честь принадлежать и которому я обязан всем моим интересом к лингвистическим вопросам.

І. СЛУЖЕБНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ

Прежде всего приходится говорить о служебной роли грамматики, так как старинное, наивное и давно в сущности скомпрометированное ее определение, как „искусства правильно говорить и писать“, по-видимому, до сих пор имеет неотразимую силу для умов многих авторов учебников и методик русского языка. И так как вполне очевидно, что никакого другого служебного значения грамматики, кроме указанного в этом определении, нельзя и придумать, то, следовательно, нужно только хорошенько рассмотреть это определение.

Но в настоящее время никто уж не верит первой его части, т. е. что грамматика учит правильно говорить, так что опровергать это положение значило бы ломиться в открытые двери. Что касается второй части определения — грамматика учит правильно писать, — то это мнение чуть не общепринятое, если судить по школьным программам, учебникам и методикам русского языка, которые все, за малыми исключениями, либо тайно, либо явно признают его справедливость.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, нужно прежде всего различать у русских, т. е. у говорящих и пишущих на общерусском литературном языке, два языка: один слышимый и производимый, а другой написанный, которые находятся один к другому

в известных отношениях, но не тождественны — элементы одного не совпадают с элементами другого. Причины этого вполне ясны: письменность консервативна и не успевает в своем развитии следовать за произносимым языком, в результате чего и является полное несоответствие между тем, как говорят, и тем, как пишут. Прекрасной иллюстрацией этого несоответствия является английский язык. Несколько примеров сделают это вполне ясным и по отношению к русскому языку:

я выплыл в море *я купаюсь в морѣ*
я видел ея дом *я видел ее* и др.

представляют пример сохранения на письме не существующего в языке различия формы падежей;

красивые дома *красивыя улицы*
они *онѣ* и др.—

пример отсутствующего в произносимом языке различия родов. И такие примеры можно приводить без конца. Сравнение маленького отрывка, написанного с соблюдением современной русской орфографии, с приблизительной его фонетической транскрипцией* сделает, я думаю, для всякого ясной необходимость различать язык написанный от произносимого.

Если надо различать эти два языка, то надо, очевидно, различать и их грамматики, что и видно было из приведенных выше примеров. Само собой разумеется, что для изучения правописания нужна, может быть, только грамматика написанного языка, которая толкует о буквах, а не о звуках, о том, как пишут, а не о том, как говорят. Но грамматика в сущности сводится к описанию существующих в языке категорий**, и если мы данный язык знаем, то эти категории легко нами подмечаются, так как они уже у нас существуют в бессознательном состоянии. Между тем дети, которые еще не овладели правописанием, очевидно не знают написанного языка, т. е. не только его категорий, но и единичных явлений, а потому грамматику им придется преподавать догматически, переходя от отвлеченного к конкретному — прием, давным-давно

* Ехал извозчик Семен с кладью глухой дорогой, по голому, ровному степному месту. Беда не по лесу ходит; а найдет беда, растворяй ворота, так одно за другим на тебя и валится.

Јѣхъл ызвѣш'чѣк С'ѣм'ѣн склѣд'ју глухѣј дарѣгѣј пагѣльму рѣвнѣму стѣпнѣму м'ѣсту. Б'ѣдѣ н'ѣпол'су хѣдѣт; а наѣд'ѣт б'ѣдѣ рѣствар'ѣј вѣратѣ, тѣк аднѣ зѣдруг'ѣм нѣт'ѣб'ѣ ѣвал'ѣтца.

Примечание. В транскрипции для простоты введены лишь следующие знаки: *j = й*; *ъ, ь =* глухие неопределенные гласные; запятая с правой стороны над согласными = мягкое произношение согласных.

(Заимствовано с изменениями из В. А. Богородицкий, Курс грамматики русского языка, ч. 1, Варшава, 1887, стр. 106.)

** Под грамматической категорией я разумею те группы однообразия в языке, под которые подводятся единичные явления; так, имена существительные в предложном падеже я называю категорией, которая для написанного языка характеризуется окончанием *-ль*.

забракованный в педагогике и только по какому-то несчастному консерватизму школы до сих пор уцелевший в преподавании языков.

Но если даже и держаться такого нерационального метода, то для практических целей обучения письму нет никакой надобности проходить всю грамматику, а вполне достаточно изучение тех ее частей, в которых написанный язык не сходен с произносимым, так как произносимое известно и без того всякому говорящему по-русски. Эти отличия более или менее исчерпываются так называемыми правилами правописания. Между тем, развернув любую из ходячих грамматик, всякий увидит, что правила правописания, которые именно могут иметь „служебное значение“ (и только служебное), составляют ничтожную часть книги и не находятся в тесной связи с остальным ее содержанием. Да и действительно, какое значение для правописания имеет то, сколько склонений в русском языке находит тот или другой автор учебника, какие виды и залоги он отличает и про какие изменения звуков говорит.

Итак, служебное значение может иметь только небольшая часть грамматики написанного, т. е. искусственного, языка, которая и составит попросту сборник орфографических правил. Тут и является вопрос, нужно ли изучать этот сборник и, если нужно, то как?

Из того, что язык написанный отличается от языка произносимого, следует вполне очевидно, что основной метод обучения правописанию — не элементарной грамотности — должен быть зрительный и моторный, т. е. что ученики должны запоминать, с одной стороны, вид слов, а с другой — движения, потребные для их написания. Т. е., на практике обучение должно выразиться в списывании верных образцов. Ввиду же элементарного требования педагогики — идти от частного к общему — списывание должно вестись систематически и так, чтобы правила были лишь обобщением некоторого числа частных случаев.

Таким образом, получается ответ на поставленный вопрос: орфографические правила не должны быть предметом самостоятельного изучения, а должны лишь быть обобщениями, делаемыми учениками на основании изученных частных случаев, и вся картина обучения письму приобретает, таким образом, такой вид: ученики списывают примеры, подходящие под известное правило; когда у них накопился достаточный фактический материал, учитель обращает их внимание на повторяющееся сосуществование двух признаков, например предложный падеж и окончание *-ль*, и ученики делают обобщение: в предложном падеже пишется на конце *-ль* и т. п. Нахождение общего признака, т. е. составление правила, зависит, конечно, от остроумия учителя и составителя руководства для учителей, и все методы для этого хороши, как зрительный, так и слуховой, как, например, в правиле о так называемых сомнительных звуках или в остроумном правиле о букве *ль**. Сделав

* См. Богородицкий, Курс грамматики русского языка, Варшава, 1887, стр. 61.

под руководством учителя обобщение, ученики продолжают упражняться в списывании, подводя единичные случаи под выведенное ими общее правило, до тех пор пока правописание не делается вполне механическим, подобно процессу ходьбы, игре на рояле и т. п. Ибо только то совершается безошибочно, что совершается вполне бессознательно, механически: если бы мы думали о всех тех движениях, которые нужно совершать при ходьбе, то мы бы разучились ходить, и если бы музыкант сознательно ударял клавишу, соответственно написанному в нотах, то он играл бы, как пятилетний ребенок. Таким образом, „идеалом“ при обучении письму является механичность, а сознательность является низшей ступенью; что касается орфографических правил, то они являются лишь одним из средств. Это следует не забывать и не ставить переходную ступень — сознательность, выше цели — механичности, как бы эта последняя ни была достигнута. Делать же средство, орфографические правила, самостоятельной целью — является уже совсем нелепым.

Из того, что идеалом правописания является его механичность, следует, что основой для его изучения будет память — зрительная и моторная — и что грамотность будет прямо пропорциональна количеству списанного, если не принимать в расчет колебания внимания у разных индивидуумов. Из этого же следует, что обучение грамоте, являясь главным образом механическим, не может служить орудием развития учеников, а потому, с одной стороны, относительная безграмотность — не такой уж большой порок, а, с другой стороны, чем меньше времени будет употреблено на изучение правописания, тем лучше. Следовательно, желательно было бы не только учеников, так сказать, поднимать до правописания, но, если можно, и правописание несколько опустить к ученикам, т. е. упростить его, как например: уничтожить давно всем надоевшее и никому не нужное *ль*, на которое уходит немало психической энергии учеников, и сделать некоторые другие упрощения. И я думаю, что было бы вполне своевременно, если бы съезд, следуя прекрасному примеру немцев, упростивших недавно свою орфографию, возбудил, где следует, ходатайство о реформе русского правописания. За недостатком времени я, к сожалению, не могу останавливаться подробнее на этом интересном вопросе, который сам по себе мог бы стать темой целого реферата.

II. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ

Переходя к вопросу о самостоятельном значении грамматики, нужно прежде всего сказать, основываясь на сказанном о различии двух языков — написанного и произносимого, — что если и изучать какую-либо грамматику ради грамматики, то следует изучать только грамматику живого, произносимого языка. Ведь изучение грамматики сводится к наблюдению над существующим в языке: наблюдать же можно только то, что хорошо известно, а вполне хорошо

известен детям (да и взрослым) только произносимый и слышимый язык. Кроме того, наблюдать полезно то, что живет, так сказать, полной жизнью и свободно развивается — таков произносимый язык; язык же написанный является до некоторой степени мертвым языком и лишь насильно вталкивается школой в наши умы. Наконец, написанный язык живет не самостоятельно, а питается соками живого, произносимого языка — лучше же наблюдать источник жизни, нежели ее наросты; к тому же в развитии произносимого языка участвуют силы всего народа, а письменного — лишь ничтожной его части.

Но если следует изучать главным образом язык произносимый, то нужно признать, что существующие грамматики русского языка совершенно никуда не годятся, так как они не основаны на изучении этого языка. Мало того, никто в мире не в состоянии даже решить, какой язык исследуют их авторы: в них царствует полный хаос и смешение понятий, так как сообщаемые в них сведения основаны не на наблюденных фактах, а придуманы составителями из головы и зачастую не имеют никакого реального значения. Чтобы не быть голословным, приведу примеры из одной из самых распространенных школьных грамматик. На первой же ее странице говорится, что звуки разделяются на гласные и согласные, и тут же в числе гласных звуков приводятся *е (ь), ю, я*. Между тем всякому, хотя немного думавшему над языком, ясно, что это не звуки, а лишь буквы, под которыми, в зависимости от положения, нужно понимать разные звуки: в начале слов, после гласных и после *ѣ* и *ь* эти буквы означают сочетание согласного *ј* (иногда обозначаемого в нашей письменности через *й*) с настоящими гласными *э, у, а*, например: *ель, яма, подъячий, вьюн**; в положении же после согласных они обозначают те же гласные (*э, у, а*) и особый оттенок предшествующего согласного — так называемую „мягкость“ его, например: *течь, клюв, тля***. Из этого смешения буквы со звуками вытекают и дальнейшие недоразумения: в примечании говорится, что буква *е* в иных случаях произносится, как *йо*, например: *слезы* — это я уже совершенно отказываюсь понять: ведь по этому рецепту мы должны говорить *слиозы*...

То же смешение звуков и букв ведет автора к непонятному и совершенно неверному делению гласных звуков: твердые — *а, о, э, у, ы* и соответствующие мягкие: *я, е, ю, и*. Да ведь *а* и *я*, *э* и *е*, *у* и *ю* — буквы, а не звуки; гласные же звуки, под ними подразумеваемые, будут одни и те же — *а, э, у*; разница только будет в соседних самостоятельных звуках, и ни о какой мягкости и твердости гласных нельзя говорить: действительно, из истории языка известно, что гласные *э* и *и* (и только эти) имеют способность на протяжении веков смягчать предшествующие согласные звуки, да и то теперь в науке забракован этот способ

* В фонетической транскрипции: *јэл', јáма, пад'јáчь, в'јун*.

** В фонетической транскрипции; *т'эч, кл'уф, тл'а*.

выражения, как ведущий к крупным заблуждениям; самые же гласные и не могут быть мягкими или твердыми. То же неразличение звуков и букв ведет автора грамматики к неправильным взглядам и в таблице согласных, в которой царит полнейшее отсутствие *principium divisionis*, например: *л* и *р* названы язычными, как будто *т, д... ш, ж... к, г...* — не язычные. К сожалению, за недостатком времени я не могу входить в подробную критику таблицы согласных и, чтобы покончить с фонетикой, упомяну только еще об одном курьезе: в одном из примечаний говорится, что звук *и*, произносимый кратко, изображается знаком *й*. Но как кратко я ни буду произносить *и*, оно все-таки останется *и*, а звук, обозначаемый знаком *й*, я могу тянуть до тех пор, пока хватит дыхания. Очевидно, дело тут не в краткости, а в чем-то другом: *и* будет гласный, а *й* согласный спирант. Действительно, можно, хотя и не очень, говорить о сокращении при произнесении *й*, но только не времени, а расстояния между языком и твердым небом, по сравнению с *и*. И это неверно, так как ни *и* не сокращается в *й*, ни *й* не расширяется в *и*, а каждый звук образуется вполне самостоятельно.

Это смешение звуков и букв ведет автора к неверным выводам и в морфологии: оно заставляет его, например, различать твердое и мягкое склонение. Между тем стоит нам отвлечься от написанного, чтобы увидеть, что и *рабъ*, и *конь*, и *край* склоняются совершенно одинаково; основа, очевидно, будет разная — *раб-*, *кон'-*, *крај-*, но окончания — одни и те же: в род. пад. *-а* — *раб-а*, *кон'-а*, *крај-а*; в дат. пад. *-у* — *раб-у*, *кон'-у*, *крај-у* и т. д.

В учении о глаголе автор все по той же причине различает два спряжения, что имело в свое время основания, но в современном русском языке ничем не оправдывается. В самом деле, в русском языке нет ни одного глагола с приметой *е* во 2 и 3 лл. ед. ч. и 1 и 2 лл. мн. ч., которая считается приметой I спряжения: в глаголах типа *несу́, несёшь...* имеем *о*, в глаголах типа *сяду́, сядешь...* *мою́, мёшь...* имеем вместо *е* глухой, так называемый редуцированный, гласный без определенной локализации, который скорее всего можно передать через *и*, как это и делают малограмотные люди с незатемненным языковым чутьем. I спряжение, таким образом, исчезло, и русские глаголы расположились по другим типам, говорить о которых, впрочем, не входит в мою задачу. Приведенных примеров — а можно их привести гораздо больше, так как вся грамматика построена на подобных недоразумениях, — я думаю, вполне достаточно, чтобы показать полную несостоятельность существующих школьных грамматик.

И неужели же этой сплошной выдумке составителей учебников, не имеющей никакой опоры в живой действительности, нужно учить детей? Я думаю, едва ли кто-нибудь решится утверждать подобное, вдумавшись в ту ужасную путаницу в области языка, которая так прочно водворяется школой в головы, что потом стоит громадных усилий — я испытал это на собственном опыте — очи-

стить их от этого хлама и дать дорогу истине. Мне могут сказать: истина — истинная наука о языке — недоступна детям; но, во-первых, истину всегда можно сделать доступной и удобопонятной — стоит только самому хорошенько понять ее, а во-вторых, это все равно, что сказать: если детям недоступно, что $2 \times 2 = 4$, то учите их, что $2 \times 2 = 5$, или: так как трудно объяснить, что земля вращается вокруг солнца, то учите их обратному. И это еще просто выучить и переучить, а тут несчастных детей в течение нескольких лет обучают с большим трудом и усилиями чему-то... несуществующему. Итак, что же? Значит, грамматику не нужно учить? Нет, это значит только, что не нужно учить несуществующую грамматику.

Чтобы решить вопрос о самостоятельной роли грамматики как учебного предмета, нужно посмотреть, какое она может занять место в ряду других предметов. Если признать, что средняя школа, помимо сообщения сведений, главной своей задачей ставит приучение своих воспитанников к самостоятельному мышлению в разных областях*, то в ее программу должны входить науки, содействующие развитию как дедуктивного, так и индуктивного мышления. Для первого могут служить математика и логика, для второго — науки опытные, основанные на наблюдении, которое и является основой индуктивного мышления. Таким образом, педагогическое значение этих наук состоит в приучении к разным приемам наблюдения. А все, подлежащее нашему наблюдению, можно разделить с эмпирической точки зрения на два отдела: предметы внешнего опыта и предметы внутреннего опыта. К первым я отношу весь видимый мир, ко вторым нашу душевную жизнь — представления, чувства, желания и т. д. Очевидно, что для наблюдения тех и других требуются совершенно разные приемы, а потому школа должна приучать и к наблюдению над предметами внешнего опыта, что и составляет предмет естествоведения в разных его видах, и к наблюдению над предметами внутреннего опыта, чем занимаются так называемые гуманитарные науки. Ведь и этика, и право, и литература, и язык, и даже такая материалистическая наука, как политическая экономия, — все они основаны на предметах внутреннего опыта, все они существуют постольку, поскольку существует человек; везде мы имеем дело прежде всего с представлениями разного порядка.

Здесь не место развивать эту мысль относительно права, этики и др.; достаточно будет, если я разовью ее относительно языка, на котором, по-видимому, надо остановиться при выборе для школы науки, занимающейся наблюдениями над предметами внутреннего опыта. Причины этого сводятся к следующему: наблюдать, а тем более приучать к наблюдению удобнее над тем, что существует уже в готовом виде, чем над тем, что еще образуется и находится в бесформенном состоянии, когда трудно уловить что-либо опре-

* Это моя основная предпосылка, в критику которой я уже не вхожу.

деленное. А в таком именно состоянии находятся у воспитанников этические, правовые, социальные и другие понятия: школа еще только старается насадить в них правильные, т. е. господствующие в данном обществе, понятия в этих областях. Самое преподавание словесности сводится главным образом к усвоению материала и образованию литературных понятий. Другое дело — язык: дети, поступающие в школу, вполне владеют своим родным языком, и он представляет для наблюдений богатый и уже готовый материал, который очень легко поддается индуктивным обобщениям и к тому же всегда под рукой.

Что язык есть один из продуктов деятельности нашей психической организации — это давно всем известно. Но стоит несколько вдуматься в это положение, чтобы признать за языком полное право гражданства в школе. Действительно, когда я говорю слово *стол*, все понимают, о чем я говорю; но почему? — ведь сочетание этих нескольких звуков — *с-т-о-л* — физически нисколько не связано с самым столом; но в моей и в вашей психике, в душе представление слова ассоциировано с представлением слова *стол*, и когда я физическими средствами, т. е. произведением известного ряда звуков, возбуждаю в вас представление этого слова, то по ассоциации всплывает в вашей психике и представление самого стола. Итак, то, что важно для языка, т. е. что делает возможным для нас понимать друг друга, — это лежит в нашей психике.

Далее, обратите внимание хотя бы на так называемые склонения. Отчего мы так правильно употребляем падежи? Ведь если даже неграмотному человеку сказать, что есть город Кяхта, которого он до сих пор и не знал, то он вам совершенно правильно скажет: *торговое значение Кяхты, Кяхте дано было преимущество, я вижу Кяхту, я восхищен Кяхтой, я живу в Кяхте*. Значит, он знает склонение, склонение у него существует, и существует в его психике, в его душе окончание *-ы (-и)*, ассоциированное, с одной стороны, со значением принадлежности, с другой стороны, оно ассоциировано с окончанием *-е (ь)* со своим значением, с окончанием *-у* с его значением и т. д. Все это составляет какой-то клубок ассоциаций, который мы и называем склонением, и достаточно возбудить один член этой ассоциации, чтобы могли появиться и все другие. Значит, склонения (то же относится, конечно, и к спряжениям) существуют не только в учебниках — они имеют реальное бытие в нашей психике, и грамматики должны лишь описывать то, что существует.

Наконец, обратите еще внимание на так называемые звуки языка. В грамматиках говорится, что язык состоит из слов, а слово — из звуков. Я произношу слово *стол*, которое действительно состоит из звуков; но я произнес — и звуки исчезли; и исчезли навсегда, а между тем мы говорим, что звуки русского языка — *а, е* и т. д. — существуют. И они действительно существуют, но существуют, как представления. Существуют

представления звуков, а самые звуки существования* не имеют, да и не могут иметь. Для уяснения сказанного возьмите два слова, как например *брат* | *о брате*, и прислушайтесь внимательно к звуку *а* в том и другом случае. Вы заметите небольшую разницу, да если бы ваше ухо вам и не подсказывало бы ее, вы а priori можете думать, что между ними есть хотя бы минимальная разница, а между тем вы спокойно говорите, что это один и тот же звук. Почему? Да потому что в вашей психике существует, живет представление этого *а*, которым вы и апперцепируете всякий звук, близкий к нему, и который проф. Бодуэн де Куртенэ, для отличия от собственно звука, так удачно назвал „фонемой“.

Сказанного, я думаю, достаточно, чтобы сделать ясным для всякого, что язык есть явление психическое и что, таким образом, наблюдения, над ним производимые, будут наблюдениями над предметами внутреннего опыта. Таким образом, вопрос является решенным: изучение грамматики живого произносимого языка вполне может иметь самостоятельное значение в средней школе. Так, по крайней мере, мне представляется. Может быть, педагогика докажет со временем, что есть другие предметы, преподавание которых ведет с большим успехом к той же цели, что и преподавание языка — к приучению наблюдать над предметами внутреннего опыта, — но это покажет будущее.

Как же на практике должно вестись это изучение? Ограничусь для краткости лишь несколькими примерами из области фонетики. Очевидное дело, что ни о каких учебниках, заучивании чего бы то ни было, не может быть и речи. Все занятия должны быть сведены к наблюдениям самих учеников, под руководством учителя, над собственным их языком. Прежде всего может быть им указана связь представлений слов с представлениями значения, с одной стороны, и с представлениями звуков, составляющих эти слова, с другой стороны. Далее, может быть обращено их внимание на различия в зависимости от условий соседства звуков, которые мы воспринимаем как одинаковые, т. е. не существующие в произношении, различия одной и той же фонемы, как например фонемы *а* в вышеприведенных словах — *брат* | *о брате* или в словах *брат* | *брак*, или фонемы *е* в *сел* | *сели*, и таким путем может быть выяснено у них мало-помалу понятие фонемы, хотя бы и без термина. Далее, путем очень интересных для детей наблюдений над органами произношения, могут быть выяснены представления отдельных физиологических работ, определяющих данную фонему, т. е. характерных для нее. На основании этого может быть сделана классификация фонем родного языка. Далее, можно указать на громадную роль ударения в русском языке; затем указать на существующие чередования, которые дети могут и сами

* Само собой разумеется, что я все время говорю о существовании длительном.

понемногу отыскивать; особенное внимание нужно обратить при этом на чередования, соединенные с изменением значения, как например: чередование *е | о*, соединенное с чередованиями значений — единственного числа с множественным: *село | сёла, гнездо | гнёзда, метла | мётлы* и т. д. Такие же упражнения можно устроить и по морфологии, и по другим частям грамматики.

Что все это не только вполне доступно детям, но даже их интересует, в этом порукой являются педагогические опыты, произведенные в этом направлении над детьми I класса проф. И. А. Бодуэном де Куртенэ, который любезно предоставил их результат в мое распоряжение.

Тезисы к докладу Л. В. Щербы

1. Следует различать грамматику языка слышимого и произносимого от грамматики языка написанного.

2. Основывать изучение правописания на изучении грамматики языка написанного не педагогично, так как придется при этом переходить от отвлеченного к конкретному.

3. Основой при обучении письму является память зрительная и моторная.

4. Орфографические правила, выводимые учениками на основании готового материала, представляют собою лишь вспомогательные средства.

5. Единственный метод обучения правописанию — систематическое списывание.

6. Идеалом правописания является его механичность.

7. Значение правильного с орфографической точки зрения письма преувеличено.

8. Необходимо упростить русское правописание.

9. Самостоятельное значение может иметь лишь грамматика языка живого, произносимого.

10. Существующие школьные учебники русского языка никуда не годятся, так как смешивают буквы со звуками, язык написанный с языком произносимым, прошлое языка с его настоящим.

11. В средней школе должны преподаваться науки, приучающие к наблюдению как над предметами внешнего опыта (видимый мир), так и над предметами внутреннего опыта (представления).

12. Из числа наук, занимающихся наблюдением над предметами внутреннего опыта, для средней школы следует выбрать язык, так как, во-первых, он есть продукт деятельности нашей психической организации, и, во-вторых, только язык представляет вполне сложившийся у детей материал.

13. Преподавание грамматики в низших классах должно вестись без учебника.

14. Преподавание грамматики должно состоять в наблюдении и группировке явлений языка самими учениками.



О РАЗНЫХ СТИЛЯХ ПРОИЗНОШЕНИЯ И ОБ ИДЕАЛЬНОМ ФОНЕТИЧЕСКОМ СОСТАВЕ СЛОВ

[СБОРНИК „ЗАПИСКИ НЕОФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА“, ВЫП. VIII,
ПЕТРОГР. ИМП. УНИВ., ПГР., 1915]²

Вопрос о разных стилях произношения не является новым в фонетике: П. Пасси в своей классической книжечке „Les sons du français“, вышедшей недавно 7-м изданием (первое издание в 1887 г.), различает следующие стили: *prononciation familière rapide*, *prononciation familière ralentie*, *prononciation soignée*, *prononciation très soignée*. Два примера из русского языка помогут понять, в чем тут дело: *здравствуйте* и *здрасте*, *человек* и *чек*, *говорит* и *грит* принадлежат, очевидно, разным стилям произношения (в немецкой лингвистике эти дублеты известны под именем *Lento-* и *Allegroformen*). Внимательное наблюдение показывает, что это лишь крайние случаи и что на самом деле существует бесконечное множество переходных нюансов и что полные формы в сущности в обычной речи никогда не употребляются.

Если это так, то, отвлекаясь от письма, что нам, грамотным, очень трудно сделать, но что мы обязаны сделать в науке, мы становимся лицом к лицу с весьма трудным, но и весьма важным вопросом: что же считать фонетическим словом — *говорит* или *грит*? Звуковая сторона слова, которая казалась всегда такой ясной, непреложной, которая представлялась определенным ядром более или менее расплывчатых семасиологических представлений, оказывается, таким образом, сама не менее расплывчатой и неопределенной. Пока люди находились еще под очарованием письма, отличая звуки от букв больше в теории, то можно было бы еще толковать о том, что неударенное *о* произносится как *a*, или как звук средний между *o* и *a* и т. п. Но когда окончательно порвали с буквами и стали наблюдать объективно существующее в связной речи разнообразие произношений, то пришлось задуматься о том, как относятся друг к другу объективно встречающиеся в разных условиях формы: *gʌvʌr'it*, *gəvʌr'it*, *gəʌr'it*, *gər'it*, *gr'it*, *gr'it* и т. д. *.

* Все встречающиеся вариации далеко не исчерпываются указанными.

Некоторые лингвисты, по-видимому, склонны преклониться пред фактом и не находят возможным входить в психологический анализ взаимоотношения всех этих форм; другие, видя практическую невозможность оперировать с таким многообразием, останавливаются на той или другой форме, более или менее произвольно выхваченной из этого многообразия (например, в нашем случае на форме *gəvɑr'it*). П. Пасси пытается определить то, что он считает за норму, как *prononciation familière ralentie*. Теоретические основания его при этом неясны; может быть, они неясны и ему самому (ср. P. Passy, *Petite phonétique comparée*², стр. 4, § 9 с примечанием). Поэтому и значение термина, составленного из безусловно относительных выражений, остается не совсем ясным. Само собой разумеется, что и определение по метроному темпа речи, если бы такое и было возможно, ни к чему не привело бы, так как дело, очевидно, не только в темпе речи.

В чем же дело и каковы могут быть теоретические основания для выхода из тупика? Мне кажется, весь вопрос легко разрешается, если мы перенесем его на психологическую почву. В самом деле, для нашего сознания в большинстве случаев ясно, что мы считаем необходимой фонетической принадлежностью данного слова, и это проявляется, когда мы, по тем или другим соображениям, произносим ясно, отчетливо, отчеканивая каждый слог в нашем случае, например, *ga-va-r'it**. В таких условиях мы освобождаем наше произношение по крайней мере от действия наиболее деструктивных факторов — от влияния удара, соседства и инертности органов произношения. Ведь как раз эти факторы заставляют нас, помимо нашей воли, произносить, в зависимости от тех или других условий, все те варианты слова *ga-va-r'it*, которые были указаны выше и которые являются не чем иным, как зародышами будущих языковых состояний. Все эти варианты нами нормально не сознаются как таковые, вследствие свойства психологического процесса, при этом протекающего и известного под именем а с с и м и л я ц и и. Но при передаче языка от поколения к поколению некоторые из них могут стать достоянием сознания и даже вытеснить старую идеальную форму. Поэтому и правильно говорится, что язык изменяется при передаче его от поколения к поколению — изменяется при этом его идеальная сознательная форма. Самые же, однако, изменения происходят в индивидууме и обусловлены психологически и физиологически.

Может показаться, что случаев, когда проявляется идеальный фонетический состав слов, очень мало. Это неверно. Мы всегда так произносим, когда употребляем редкое, для собеседника малоизвестное слово, когда говорим из другой комнаты, когда говорим занятому, рассеянному, тугоухому и т. п., когда поправляем детей, когда хотим привлечь внимание на то или другое

* Для некоторых русских диалектов возможно, по-видимому, и другое произношение.

слово или даже часть его (когда для понимания смысла фразы важен тот или другой морфологический элемент), когда тянем слова в недоумении или удивлении, когда говорим нараспев или попросту поем и т. д., и т. д.

Выше я сказал, что для нашего сознания в большинстве случаев ясен идеальный фонетический состав слов — значит, не всегда. В самом деле, представим себе, что ребенок никогда не слышал отчетливого произношения слова *говорит*, а слышал лишь формы: gər'it и gr'it; он легко может себе представить на основании опыта со словом *мечит* (мычит), что идеальная форма слова будет гыр'it, и если никто не поправит его соответственного отчетливого произношения, то он так и останется с *гырит* вместо *говорит*; но если у него будет смутное воспоминание о gəvɫr'it, то сознание может колебаться, могут возникнуть две параллельные формы и т. п. Так, например, по-моему, у нас обе формы — и *здравствуйте* и *здрaсте** — существуют в сознании, тогда как того же нельзя сказать про *говорит* и *грит*, хотя это последнее зафиксировано даже и в литературе: *грит*, по крайней мере мною, чувствуется как диалектизм.

Так как коллективный язык является в известном отношении научной фикцией, а индивидуальные сознания представляют много неясного, переходного, то, конечно, и вопрос об идеальном фонетическом составе всех слов данного языка не может быть всегда решен с полным успехом и во всех деталях, так как это было бы насилием над фактами**. Тем не менее для меня совершенно ясно, что этот вопрос неминуемо должен быть выдвинут в науке в связи с эмансипацией от письменного языка и обращением к живой речи.

Тут надо, впрочем, заметить, что всякая письменность в общем всегда стремится в той или другой мере запечатлеть идеальный фонетический состав слов и только, в силу своей инертности не поспевая за изменениями языка, отражает в большинстве случаев прошлые эпохи языка. Поэтому-то языкознание и могло сделать такие большие успехи, несмотря на то, что исходило, а зачастую и до сих пор исходит из букв. К сожалению, этимологизирование как орфографический принцип, а особенно искусственное этимологизирование грамотеев всех времен и многочисленные заимствования (хотя бы в виде особых орфографических манер) сильно затрудняют пользование письменным языком для восстановления идеального фонетического состава слов и в прошлом. Дело усложняется еще и тем, что всякий исторически сложившийся письменный язык по большей части не отражает один какой-либо строго определенный в прошлом момент: элементы его

* Здесь, по-моему, только и уместны названия Lento- и Allegroformen.

** То же справедливо и по отношению к любой области языка, поскольку мы отрываемся от буквы, книги вообще, и переносим наше наблюдение в первоисточник языка — в душу человека. К сожалению, это всегда оказывается бесконечно трудной задачей.

восходят часто к различным эпохам. В этом отношении древне-церковнославянский язык (по крайней мере в евангельском тексте, где благодаря нескольким древним спискам можно с большей или меньшей вероятностью восстанавливать оригинал) является единичным и драгоценнейшим для лингвиста исключением.

От обсуждения научного значения поднятого здесь вопроса позволю себе перейти теперь к практическому и коснуться тех выводов из высказанных выше соображений, которые должны были бы, по-моему, быть приняты во внимание в деле обучения иностранным языкам.

По моим наблюдениям, учащиеся в большинстве случаев усваивают лишь те фонетические явления, которые выступают ясно в связной речи, а идеальный фонетический состав слов лишь там, где он не противоречит фонетике родного языка. Между тем зачастую этого мало. Так, различие долготы и краткости гласных несвойственно и даже прямо-таки непонятно нам, русским, тогда как в немецком это факт капитальной важности. Между тем в связной речи это различие зачастую несколько скрадывается (особенно в словах, не носящих логического ударения во фразе), а для русского уха и вовсе исчезает. Поэтому русские только тогда имеют случай наблюдать немецкую долготу, когда учитель произносит то или другое слово достаточно медленно и отчетливо. Для детей, впервые получающих какие-либо языковые впечатления (т. е., например, для немецких детей), этого оказывается достаточно; для лиц же, привыкших считать длительность гласных делом совершенно неважным, этого чересчур мало. В результате ученики из русских даже при затрате большого труда как с их стороны, так и со стороны преподавателя, хотя бы даже и знающего фонетику теоретически, делают неприятные ошибки в количестве; им не сумели внушить идеального фонетического состава немецких слов.

Другой пример: во французском различается *e* (ouvert) и *e* (fermé), но различие это ясно слышно только под ударением. Между тем во фразе сплошь и рядом это ударение отсутствует, и различие скрадывается; например: *c'était hier* произносится обыкновенно *sètè'je:r* (где *è* — среднее ненапряженное *e*), хотя в отчетливом (по слогам) произношении фраза и будет звучать *se-tè-je:r*.

Таким образом, учащиеся сравнительно редко слышат *e* (ouvert), а так как оно несвойственно русской речи, то они его и вовсе не усваивают как самостоятельный звук. Поэтому я еще никогда не слыхал русских, даже хорошо в общем говорящих по-французски, которые бы отличали, например, *futur* от *conditionnel* в 1-х лицах (*zəlirè* и *zəlirè*).

Вообще учащимся приходится чаще всего слышать, употребляя выражения Пасси, *prononciation familière rapide*, сами же они говорят, особенно вначале, таким темпом, которому приличествовало бы чуть ли не *prononciation très soignée*, которого они, однако, не знают, так как его мало слыхали. Благодаря этому получается самое ужасное смешение стилей.

Для устранения этого недостатка необходимо, чтобы учащихся заставляли изучать больше всего и прежде всего идеальный фонетический состав слов (*prononciation familière* придет отчасти само собой) и чтобы учащие, выяснив основные отличия фонетики языка изучаемого от фонетики родного языка учащихся, обращали на эти отличия особое внимание, а главное, чтобы сами выговаривали соответственные слова особенно тщательно. При этом не надо бояться — и это я не могу в достаточной мере подчеркнуть — утрировать произношение. Надо помнить, что ухо учащихся глухо к иноязычным „тонкостям“. И только особенно подчеркивая эти тонкости, можно привлечь к ним внимание учащихся и вызвать подражание*.

Между тем увлечение живым языком, которое я вполне разделяю, привело к тому, что в учебниках, помещающих фонетические транскрипции, даются транскрипции более или менее связной речи**, отчего получается (при чтении их учащимися медленным темпом, с остановками после каждого слова, а то и внутри слова) нечто такое, что никак не может быть одобрено с точки зрения изучаемого языка. Употребление говорящих машин лишь увеличило все эти неудобства.

Дело, однако, можно легко поправить, приняв за правило печатать всегда две транскрипции: одну, обнаруживающую идеальный фонетический состав слов, и другую — транскрипцию связной речи***. То же должно применяться и по отношению к текстам, наговариваемым в говорящие машины: всякий текст должен быть записан в двух стилях, и для каждого сделана фонетическая транскрипция (употребление машин без транскрипций, по-моему, сильно уменьшает их пользу).

Я собирался закончить статью фонетическими транскрипциями в обоих стилях на главнейших европейских языках; но в типографии не оказалось соответствующих знаков. Образчик такой двойкой транскрипции для русского дан мною в „*Court exposé de la prononciation russe. Publié par l'Association phonétique internationale*“ (1911). Нечто аналогичное разным стилям Пасси можно найти, для английского, у D. Jones, *The Pronunciation of English*, Cambridge (1909). Ближе всего (хотя и не вполне) отвечают моему пониманию дела французские, немецкие и английские транскрипции (двойные), сообщенные у D. Jones, *Intonation Curves*, Leipzig and Berlin (1909).

* Поэтому-то я и считаю красивое произношение, расплывающееся в полутонах и полуноансах, с педагогической точки зрения безусловно вредным, а идеалом считаю то неприятное шультмейстерское произношение, которое развивается от привычки диктовать.

** Ср., например, классическую книгу Суита „*Elementarbuch des gesprochenen Englisch*“.

*** Так, например, сделано в начале фонетической хрестоматии (для французского) Passy et Rambeau.



ОПЫТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТОЛКОВАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ

[СБОРНИК „РУССКАЯ РЕЧЬ“, ПГР., ИЗД. ФОНЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, 1923]

I

„ВОСПОМИНАНИЕ“ ПУШКИНА

Не без колебаний решаюсь я напечатать этот маленький этюд, в котором выступаю в значительной мере в качестве дилетанта, и чувствую, что я должен во всяком случае мотивировать эту свою решимость.

Мое долголетнее преподавание на б. Высших женских курсах (Бестужевских) убедило меня в том, что молодые девушки, кончающие филологический факультет и готовящиеся стать преподавательницами русского языка, зачастую не умеют читать, понимать и ценить с художественной точки зрения русских писателей вообще и русских поэтов в частности. Причин этому множество, и подробно на них останавливаться сейчас, пожалуй, не стоит. Скажу, однако, что одна из существеннейших — отсутствие классического образования (нефилологического, которое при правильной постановке могло бы заменить классическое, к сожалению, в России не существует). Другой причиной является, как мне кажется, организация литературного преподавания в русских высших школах. В большинстве случаев оно сводится к историко-литературным или историко-культурным построениям по поводу тех или иных памятников литературы и весьма редко состоит в непосредственном анализе текста как известного литературного факта. Объяснение текста, к которому на три четверти сводится преподавание литературы во всяком французском университете, у нас почти отсутствует*.

И вот, желая в подобных обстоятельствах по возможности прийти на помощь беде, я стал обучать русскому языку так, как обучают латинскому, французскому и т. д., т. е. стал приучать учащихся к лингвистическому анализу текста и к разысканию

* Само собой разумеется, что я далек от мысли осуждать то, что делается у нас; но я считаю все же полезным указать, чего у нас не делается. Не хотелось бы также, чтобы кто-нибудь подумал, будто я выступаю против историзма в литературе: я не представляю себе возможным полного объяснения текста вне исторической перспективы.

тончайших смысловых нюансов отдельных выразительных элементов русского языка. Оказалось, что это страшно трудная задача, так как я не имел никаких предшественников на этом поприще. В нашей литературе нет, например, не только какого-либо синонимического словаря, но и простого, хорошо составленного словаря русского литературного языка. Описательный синтаксис, стилистика тоже почти что отсутствуют. Одним словом, приходилось до всего доходить своим умом, и притом, к сожалению, умом зачастую больше, чем трудом, так как систематической работы в этой области хватит на целые поколения филологов, и одному человеку здесь трудно что-либо сделать.

Из этих-то практических занятий русским литературным языком и выросли „Опыты толкования стихотворений“ (по преимуществу Пушкина), одним из образчиков которого и является настоящая статья, и я не могу не помянуть здесь добрым словом целый ряд моих слушательниц, которые своим интересом к делу побуждали и меня к дальнейшей работе.

Я чувствую, конечно, все несовершенство этих моих „опытов“; однако полагаю, что путь в них найден правильный — путь лингвистический, путь разыскания значений: слов, оборотов, ударений, ритмов и тому подобных языковых элементов, путь создания словаря, или, точнее, инвентаря, выразительных средств русского литературного языка. И если люди с лучшим литературным образованием и с тонким вкусом, с тонким чутьем языка пойдут по этому пути, они создадут настоящий метод толкования поэтических произведений.

Я буду счастлив, если самые мои ошибки поведут к занятию этим вопросом и к разработке в широких размерах русского языка как выразительного средства, и сочту тогда напечатание этого не совсем зрелого „опыта“ вполне оправданным.

Впрочем, и еще одно оправдание вижу я себе. Дело в том, что в последнее время в методике преподавания русского языка и словесности назрел перелом, назрела потребность разъяснять детям не только „идеи“, но и художественную сторону поэтических произведений. Это требование даже стало входить в официальные программы. Между тем как это делать, остается никому не известным — работ в этом направлении крайне мало. А так как я сам издавна, на съездах и иначе, проповедовал необходимость в школе не столько изучать историю литературы, сколько учить читать с пониманием поэтические произведения русских, а по возможности и иностранных писателей, то на мне, может быть, лежит и некоторый долг дать что-либо в этом направлении преподавателям русского языка. Вот этот долг я отчасти и пытаюсь выполнить в этом своем „опыте“. Надеюсь, что мои коллеги по преподаванию, в ожидании лучших работ, снисходительно отнесутся к одной из первых.

Думается, что и лингвисты найдут ниже кое-какие новые для себя мысли и наблюдения. Но я предвижу и возражения. Многие

у меня может показаться чересчур субъективным; и я с этим готов согласиться и в том смысле, что мои наблюдения не всегда верны, и в том, что они иногда не имеют общего значения, являясь слишком индивидуальными. Но я считаю нужным подчеркнуть, что все семантические наблюдения могут быть только субъективными. В самом деле, каким другим может быть, например, наблюдение того, что форма *офицера́* имеет собирательный и несколько презрительный оттенок, тогда как форма *офицеры́* является обыкновенным множественным числом? Что касается „всеобщности“ значений, то я позволю себе напомнить, что поэтический язык по существу своему не всеобщий, а может быть в отдельных случаях понятен лишь очень небольшому кругу лиц. Ведь не всякая музыка, не всякая живопись всем понятна, всем доступна, по крайней мере непосредственно.

Тщательному разбору я подвергаю лишь первую половину стихотворения Пушкина, название которого выставлено в подзаголовке; однако для некоторых суждений о ритме мне нужно оно все целиком, а потому ниже я перепечатаваю текст всего стихотворения, и притом без знаков препинания, но с особыми знаками, значение которых объяснено ниже.

ВОСПОМИНАНИЕ

1	Кõгда́ для смёртнõго умõлкнёт шумный дѣнь	Am
2	И на нѣмыѣ стõгны градá	Bf
3	Пõлупрõзрачнáя наляжёт нõчй тѣнь —	Am
4	[И сõн днѣвнõх трудõв наградá]	Bf
5	! В тõ врѣмя для мѣнã влãчатся в тйшинѣ	Сm
6	Чáсы тõмитѣльнõго бдѣнã	Df
7	В бѣздѣйстви́й нõчнõм живѣй гõря́т во мнѣ	Сm
8	Змѣй сѣрдѣчнõй ўгрызѣнã	Df
9	Мѣчты́ кйпят в умѣ пõдавлѣннõм тõскõй	Em
10	Тѣснится тяжкйх дум́ избытõк	Ff
11	Вõспõминáниѣ — бѣзмõлвнõ прѣдõ мнõй	Em
12	Свõй длйнный рãзвивãет свйтõк	Ff
13	И с õтврãщѣнйѣм читãя жйзнь мõю	Gm
14	Я трѣпѣщү́ й прõклянаю́	Hf
15	И гõрькõ жалую́сь й гõрькõ слѣзы́ лью́	Gm

16	! Но строк печальных — не смываю	Nf
17	! Я вижу — в праздности в неистовых пирах	Im
18	В безумстве гибельной свободы	Kf
19	В неволе в бедности в чужих степях	Im
20	Мои утраченные годы	Kf
21	Я слышу вновь друзей предательский привет	Lm
22	На играх Вакха и Киприды	Mf
23	И сердцу вновь наносит хладный свет	Lm
24	Неотразимые обиды	Mf
25	И нет отрады мне и тихо предо мной	Nm
26	Встают два призрака молодые	Of
27	Две тени милые два данные судьбой	Nm
28	Мне ангела во дни былые	Of
29	Но оба с крыльями и с пламенным мечом	Pm
30	И стерегут и мстят мне оба	Rf
31	И оба — говорят мне мертвым языком	Pm
32	О тайнах вечности и гроба	Rf

ОБЪЯСНЕНИЕ ЗНАКОВ

Отвесными чертами обозначаются паузы реальные, а иногда и мнимые, лишь представляемые на основании других сопутствующих фонетических признаков.

| При этом одной тонкой чертой отделяются простейшие элементы связной человеческой речи, отвечающие единым и далее, в момент речи, не разлагающимся представлениям, — то, что я позволяю себе, провизорно называть „фразами“, и то, что зачастую не выделяется у нас запятой (*„в двенадцать часов по ночам (,) из гроба встает барабанищик...“*).

| Прерывистую тонкую черту я ставлю в тех случаях, когда делимость эта лишь могла бы иметь место, но на самом деле завуалирована и узнается лишь по побочному фразовому ударению.

| Толстая черта разделяет более или менее самостоятельные части одного целого, отвечая в общем нашей запятой в одном из ее употреблений.

|| Две тонких черты разделяют элементы „открытых“ нанизываемых сочетаний, например перечислений, которые, как известно, характеризуются особой интонацией.

||| Три тонких черты разделяют более обособленные и самостоятельные элементы таких же сочетаний, отвечая иногда точке с запятой, иногда точке, но не заключительной.

|| Тонкая и толстая черта соответствуют заключительной точке.

|| Две толстых черты соответствуют концу абзаца.

— Тире обозначает особую паузу, а главное — особую интонацию, которая характернее всего выступает в протезисе и аподозисе периода, но разделяет иногда и „психологическое подлежащее“ от „психологического сказуемого“.

[] В квадратные скобки заключены элементы речи, являющиеся как бы „вводными“ и выделяемые более низким и притом ровным тоном.

! Восклицательный знак перед словом обозначает резкую перемену либо тона, либо тембра, либо темпа, либо всего вместе.

˘ — ˘ Знаки краткости поставлены над слогами неударенными; знаки долготы — над слогами ударенными; знак ˘ над слогами со слабым или побочным ударением.

' " (') Фразовое ударение обозначается обыкновенными акцентами; если имеется побочное, второстепенное ударение, то сильнейшее обозначается двойным акцентом. Здесь надо обратить внимание на то, что фразовое ударение играет двоякую роль: во-первых, цемента, скрепляющего фразу; во-вторых, сигнала, выделяющего тот или другой элемент речи и имеющего, в частности, либо эмоциональное значение, либо логико-психологическое, обозначая в таком случае так называемое „психологическое сказуемое“. Фразовое ударение в этой выделяющей функции известно под именем „логического ударения“. Далее надо обратить внимание на то, что, кажется, до сих пор еще никем не было подмечено (как не было обращено внимания и на исключительную важность для синтаксиса понятия „фразы“ в указанном мною смысле*, а именно, что фразовое ударение, если имеет не выделяющую функцию, а одну лишь фразообразующую, падает в русском языке на конец „фразы“ и тогда нами не особенно замечается. В этих случаях акцент, его обозначающий, в моем тексте взят в скобки. Если „логическое ударение“ стоит на конце фразы, то фразовое ударение приходится очень усиливать, чтобы оно стало заметным.

А, В, С... являются указателями рифмы; т, f после указателей рифм обозначают соответственно „мужская“ и „женская“ рифмы.

Все знаки имеют чисто акустическое значение, и если из объяснений это не всегда явствует, то лишь в силу полной неразработанности этих вопросов в науке: экспериментальная фонетика в России еще ждет своих работников.

ОПРАВДАНИЕ ЧТЕНИЯ

Всякий еще не произнесенный текст является лишь поводом к возникновению того или иного языкового явления, так как „языком“ нормально можно считать лишь то, что хотя бы мысленно произносится и с чем, конечно, ассо-

* См., впрочем, J. van Ginneken, Principes de linguistique psychologique [Paris, 1907, стр. 285], который называет то, что я подразумеваю под своими „фразами“, — constructions. Я рассчитываю в недалеком будущем напечатать небольшое исследование, посвященное этому понятию, которое я полагаю основным для всего синтаксиса. Предварительное сообщение на эту тему мною было сделано в заседании лингвистической секции Неофилологического общества при Петроградском университете еще в 1920 г. (ср. также мои: „Восточнолужицкое наречие“ [Петроград, 1915, стр. 145] и „Некоторые выводы из моих диалектологических лужицких наблюдений“ [п. 9]).

цируются какие-либо смысловые в самом широком и неопределенном значении этого слова представления.

Несомненно, что при известных условиях жизни в той или другой мере развивается письменный язык, не рассчитанный на произнесение, и я глубоко убежден, что возникновение некоторых явлений литературных языков, как например известные сложные синтаксические построения и многие другие явления, объясняются именно таким путем. Однако это не изменяет основного, нормального положения, в силу которого нашим языком является лишь произносимый язык: он имеет непосредственные смысловые ассоциации, тогда как письмо, текст получают их лишь через его посредство. Следовательно, всякий текст требует для своего понимания еще перевода на произносимый язык, и это оказывается вовсе не таким простым и легким.

Дело в том, что письменная наша нотация крайне несовершенна и очень многое оставляет необозначенным, так что многое в тексте можно произносить, а следовательно, и понимать по-разному, и необходимы большая опытность, литературная начитанность и тонкое знание языка, для того чтобы правильно произносить текст или, что то же, правильно угадывать замысел автора.

Допускаю, что в исключительных случаях замысел автора может состоять в предоставлении некоторой свободы чтения и толкования читателю; однако нормально правильное толкование является единственным и вполне определяется произнесением текста, и я, произнося разбираемое стихотворение вышеуказанным способом, конечно, претендую на то, что нашел несомненное толкование этого стихотворения. Однако на самом деле абсолютной уверенности в этом смысле, особенно относительно некоторых пунктов, у меня нет: я до сих пор колеблюсь, меняю свои мнения, совершенствую свое понимание и т. п., и я несколько не буду удивлен, если чье-либо иное толкование покажется мне более убедительным, чем мое. Впрочем, относительно многого я все же имею внутреннее убеждение в несомненной правильности своих толкований*.

* Все это было уже написано, когда я прочел интересную книжечку А. Г. Горнфельда „Пути творчества“ [Петроград, 1922]. Там, в статье о „Толковании художественных произведений“, он говорит о множественности их понимания. Все, что он говорит, совершенно правильно и, может быть, не особенно противоречит сказанному выше, так как имеет в виду уже данную в произведении внешнюю (между прочим и звуковую) форму, которая может вызывать разные ассоциации и разные понятия у воспринимающих.

Сама форма, сам материал незыблемы по существу, и в восприятии (нормальном, конечно) может происходить лишь ослабление одних элементов и усиление других за их счет и, конечно, по-разному у разных индивидуумов. Так, несомненно, дело обстоит, например, в живописи, при слушании музыки и т. п. Так дело обстоит и в словесном произведении, полагал я, считая его природу исключительно звуковой. Поэт слышит звук, и этот звук один, в нем нет колебаний; но поэт не имеет других средств передать нам его, как это несовершенное письмо, которое наполовину скрывает от нас „божественный“ звук.

Отсюда необходимость толкования письма, перевода его в звук; истинное толкование в данном случае является единственным, и лишь дальнейшее толкование этого звука может быть множественно. Так думал я до сих пор. Но вот слова Ницше по поводу редакторской фразировки музыкальных произведений, приводимые А. Г. Горнфельдом (стр. 104), поразили и смутили меня.

Прежде всего о членении единого целого, каким несомненно является данное стихотворение. И тут для меня совершенно ясно распадение всего стихотворения на две части: во-первых, рассказ об обстановке и самом процессе воспоминания и, во-вторых, содержание этого воспоминания. Это распадение должно найти себе отражение в чтении, что и выражено в тексте двумя толстыми чертами после стиха 16 и восклицательным знаком перед стихом 17 (см. текст).

В первой части можно опять-таки различать два члена: первые шесть стихов — некоторое введение, и стихи 7—16 — психологическая картина процесса воспоминания.

Хотя связь между первым членом и началом второго и несомненно налицо, однако она не является подготовленной в первом из них, а потому двоеточие, которое во всех изданиях стоит после стиха 6, совершенно немыслимо. Сомневающиеся пусть попробуют его прочесть (ведь каждый знак имеет определенное фонетическое значение), и они убедятся в абсолютной фальши этого бумажного двоеточия.

Ницше утверждает, что композитор в момент творчества и воспроизведения видит тонкие музыкальные нюансы в неустойчивом равновесии. Если это так, то, может, и поэт не все слышит вполне отчетливо, а многое и у него находится в „неустойчивом равновесии“.

И я иду гораздо дальше. Мне кажется теперь, что слуховой образ поэта должен быть крайне неоднороден по своей яркости: некоторые элементы для него выступают с большой силой, и всякое малейшее отклонение в этой области он воспринял бы крайне болезненно; другие находятся в тени, а кое-что он почти что и не слышит и, при условии сохранения общей перспективы яркости, готов принять разное. Такое понимание отвечало бы тому, что мы наблюдаем вообще в языке, где мы всегда можем различать важное, существенное и, так сказать, „упаковочный материал“ (это различие выступает всегда, когда мы затруднены в речи или аффектом, или другим занятием, или просто ленью — „упаковочный материал“ в той или другой мере исчезает, и произносятся лишь самые существенные слова). Это понимание объяснило бы и то, почему, как я говорю выше, в некоторых случаях я убежден в правильности своих толкований, а в некоторых — я колеблюсь и готов принять и иное. Не оттого ли это, что в одних случаях мы имеем дело с яркими местами слухового представления у самого поэта, а в других с более или менее безразличными.

Если все это так, то то, что я предполагал возможным в виде исключения — сознательное предоставление поэтом известной свободы толкования читателю, является в известных пределах нормальным для всякого написанного стихотворения. В таком случае наше письмо, являясь, конечно, проклятием для поэта, не давая ему возможности выявить свой слуховой образ там, где ему это абсолютно важно, оказывается в то же время и благодетельным, позволяя не прецизировать этого образа там, где он для самого поэта неясен.

Впрочем, если все эти соображения и окажутся даже правильными, необходимость перевода письма в звук не может отпасть; только в одних случаях этот перевод будет единственным возможным, а в других — одним из возможных, и притом у одних поэтов будет больше первых случаев, а у других — вторых.

Что касается дальнейшего, то, оставляя совершенно в стороне вопрос о множественности толкования стихотворения, я могу только указать на то, что задачей моей было осознание и использование для толкования всех лингвистических указаний текста.

Второй член первой части (стихи 7—16), процесс воспоминания, состоит из четырех однородных элементов: стихи 7—8, половина стиха 9, стихи 9—10 и стихи 11—12, причем к последнему ассоциативно присоединяются последние четыре стиха.

Из деталей первой части надо оговорить прежде всего выделение слова *полупрозрачная* в стихе 3. Здесь мы имеем дело, на первый взгляд, с составным сказуемым; но это, конечно, неверно, так как не отвечает смыслу: это просто вынесенное вперед определительное слово, приобретенное благодаря этому вынесению синтаксическую самостоятельность и отделяемое легкой паузой.

Стих 4 выражает некий побочный вывод из наступления ночи — наступление сна. Но вывод этот, будучи очень важным для дальнейшего, не соединяется с предшествующей фразой в одно целое, а лишь как бы в скобках присоединяется к ней. По поводу второй половины стиха 9 надо отметить, что причастие, даже и с объяснительным словом, не обязательно отделяется от слова, к которому относится. В данном случае усваивать слову *подавленном* особую активность, что неминуемо случилось бы при его отделении, нет никаких оснований. В конце стиха 11 я не могу сделать купюры, так как слова *предо мной* получили бы тогда совершенно им не подобающий вес и самостоятельность. Соединять их с *безмолвно* не имеет никакого смысла. Единственно возможным представляется мне прочесть в одну фразу стих 11, начиная с *безмолвно*, и весь стих 12. Но *безмолвно* кажется мне чересчур значительным и выразительным словом, чтобы можно было его так затушевать, а потому я полагаю, что надо читать замедленно-выразительно: *в о с п о м и н а н и е — б е з м о л в н о*, а все остальное в одну фразу, причем *безмолвно* окажется выделенным обстоятельством в целом психологического сказуемого.

Что касается стиха 14, то и здесь, конечно, соединительное, а не разделительное: иначе оно стояло бы и перед *трепещу*, или его бы вовсе не было; конечно, можно было бы паузой все-таки придать ему разделительное значение, но тогда утратился бы ритм трех равноценных элементов в стихах 14—15, а самое главное — потерялась бы та прелесть, которая кроется в объединении двух понятий стиха 14 в одно целое, рисующее сложное, но единое состояние души.

Затруднительным представляется понимание и чтение стиха 16. Спорным является, не хочет или не может автор смыть печальные строки. Я решаю его в первом смысле и в соответствии с этим делю стих на две части — психологического подлежащего и психологического сказуемого, считая, что сознание при этом как бы останавливается сначала на созерцании „печальных строк“ в их целом, а затем на несколько неожиданном нежелании их все же вычеркнуть из истории своего я, из истории своей личности. Один из моих бывших слушателей, С. М. Бонди, человек, обладающий очень тонким чутьем языка, понимал дело иначе, ссылаясь на то, что форма настоящ. времени в русском языке может иметь модаль-

ное значение: *я не говорю по-французски* значит: „я не могу, не умею гозорить“. Однако это модальное значение, по-моему, является лишь оттенком общего значения: „я вообще не говорю (не только в настоящее время)“. Между тем приписать словам *не смываю* в данном случае общее значение решительно невозможно. Я полагаю, что для выражения невозможности смыть печальные строки надо было бы употребить оборот с *не смывается* или что-либо в этом роде.

Во второй части тоже находим двоякое членение, но не симметричное с первой частью: первый член — горестные воспоминания — занимает стихи 17—25 (середина), ибо фраза *и нет отрады мне* очевидно примыкает к предшествующим стихам как последний ассоциативный член в цепи открытого сочетания, лишь, может быть, несколько суммирующий все предыдущее; и второй член — отсюда до конца — воспоминание о „двух ангелах-хранителях“.

Перехожу к замечаниям относительно фразового ударения. Противоположение, имеющееся в стихах 1 и 5, вполне объясняет постановку ударения в их первых фразах. Слова *в то время* равняются *тогда* и почти что безударны (я даже хотел поставить „врѣмя“).

Противоположение *дня и ночи* объясняет постановку ударений во вторых фразах стихов 1 и 3.

Вторичное ударение во второй фразе стиха 1 возникло случайно, благодаря тому, что между *умолкнет* и *день* оказалось наиболее ударенное слово *шумный*, тесно примыкающее к *день*.

В стихе 4 естественным центральным местом является *дневных трудов* (сон после дневных трудов), а *награда* — лишь довольно безразличным соединительным словом, так как едва ли отчетливый образ награды, награждения был бы особенно уместен в этом контексте. Можно было бы вовсе не ставить логического ударения, ограничившись нормальным фразовым ударением в конце (см. выше, стр. 30); но тогда *награда* под фразовым ударением, благодаря рифме *града*, чересчур выделилась бы, и притом вовсе не в меру своей скромной функции, и обнаружила бы к тому же в качестве образа убийственную банальность своей природы.

В стихах 7 и 8 центральным словом является, конечно, *живей*; прочие люди ночью отдыхают после дневных трудов, а во мне ночью угрызения совести горят живей. Именно это *живей*, вероятно, и заставляло редакторов ставить двоеточие после стиха 6 (ср. выше, стр. 32). Менее оправданий имеет вторичное ударение на *сердечной*. Но так как фраза очень длинна, то при главном начальном ударении естественно получает хотя бы слабое вторичное ударение вторая группа слов, находящихся в тесной связи друг с другом. Если я предпочитаю выделять *сердечной*, то это потому, что я не считаю удобным подчеркнуть слово *угрызенья* с его образностью и с его ассоциациями. Как традиционный термин (*угрызенья совести*), оно несколько не мешает; но едва ли уместно будить дремлющие в нем возможности.

Ударение на *теснится* в стихе 10 возникло так же, как и на *умолкнет* в стихе 1 (см. выше, стр. 34).

Относительно ударения на *дум* в стихе 10 едва ли могут быть сомнения, что дело не в *избытке*, а в *тяжких думах*.

В стихе 12 *длинный* и по месту во фразе, и по смыслу является, конечно, главным выразительным словом во фразе, рисующим всю бесконечную вереницу воспоминаний.

В стихе 16 сильное ударение лежит на слове *строк*, поставленном после *но* и потому принимающем на себя всю силу противоположения (см. выше, стр. 33). Остальное, думается, не требует особых пояснений.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РИТМИКЕ

Прежде всего совершенно очевидно, что все стихотворение распадается на две равные части, по 16 стихов в каждой. Деление это отмечается фонетически (см. текст), а потому мы имеем здесь дело с двумя строфами, т. е. с проявлением ритма.

Далее, хотя внутри строф мы и находим такое чередование рифм, что можно было бы говорить о распадении всего целого на четверостишия, однако купюры смысловые (а вместе и фонетические) в большинстве случаев не совпадают с границами этих четверостиший, и притом настолько не совпадают (см. текст), что говорить о строфических enjambements не приходится: enjambement требует, чтобы быть enjambement, ясно слышимого деления на строфы, на фоне которого оно только и может быть замечено.

Итак, хотя нельзя, конечно, отрицать наличности ритма повторяющихся четверостиший, отмечаемых разрешением напряжения при второй замыкающей рифме, однако ритм этот в высшей степени завуалирован, а это вполне отвечает внутреннему содержанию первой строфы, где все едино и тесно связано. Если представить себе на минуту ритмизирование этой строфы по четырехстрочным куплетам, то сразу станет ясным, что оно разрушило бы все очарование интимного душевного настроения, рисуемого Пушкиным. Такое ритмизирование гораздо более подошло бы во второй строфе, но очевидно и там казалось Пушкину чересчур грубым и меланхоличным.

Далее идет силлабический ритм чередующихся длинных и коротких стихов (шестистопного и четырехстопного ямба). Затрудняюсь сказать что-либо окончательное о внутреннем значении этого ритма. Получается как бы некоторая сложность ритмического узора, которая конечно больше поддерживает внимание, чем бы это было возможно при равных строках в 16-строчной строфе. С другой стороны, большая разница между строками чересчур ударяла бы по вниманию каждые две строки, что нарушило бы единство настроения.

Чувство ритма этих пар усиливается тем, что длинный стих распадается везде на равные два полустишия, по три стопы в каж-

дом (см. текст), а короткий стих обыкновенно не имеет купюры. Иное деление в стихе 9 является аритмией, превосходно обоснованной: рисуется беспорядочная смена идей и чувств во взволнованном сознании человека, и ритм сломан.

Что касается стиха 4, короткого стиха, имеющего купюру после первой стопы, то эта аритмия исчерпывающе объясняется сказанным выше (стр. 33) об этом стихе.

Аритмия стиха 16, имеющего купюру на 3-й стопе, тоже вполне оправдана совершенно новым и неожиданным содержанием.

Отмечаю далее enjambement стиха 11, которое рисуется мне как наложение одного ритма на другой: данный в тексте и отмечаемый рифмой, и другой — с замедленным произнесением первой строки и с переходом во второй от ямба к хорю:

Воспоминание — безмолвно |
Предо мной свой длинный развивает свиток |

В заключение не могу удержаться, чтобы не отметить также замечательное enjambement во второй строфе (стих 27): здесь нормально построенная фраза (*два ангела, данные мне судьбою во дни былие*) требовала бы разделения, что нарушило бы ритм трех равноценных смысловых единиц стихов 26—28; поэтому Пушкин выносит определительное слово перед определяемым словом, чем и достигает единства представления и фразы, представляя все в одном плане без исторической перспективы, которая является в данном случае совершенно лишней (она неминуемо бы появилась при нормальном строении фразы). Ритмически получаются собственно три стиха:

Встают два призрака молодые ||
Две тени милые ||
Два данные судьбой мне ангела во дни былие |||

с разным количеством слогов, но психологически равноценные, что даже выражается и физически, так как благодаря расстановке слов начало третьего стиха до *ангела* произносится весьма ускоренно. Посредством рифмы *судьбой* Пушкин выдвинул этот побочный ритм в общий ритм всего стихотворения.

Замечательно, что этим для меня и исчерпывается ритмичность стихотворения, если не считать того, что они написаны правильным ямбом; строение стихов в отношении фразового ударения, если и повторяется, то в общем незаметно для слушающего.

То же можно сказать и о „фразировании ямба“, т. е. о расстановке пиррихий: она не дает никакого ощутимого ритма (см. текст). Единственные стихи, которые узнаются как идентичные, — 6 и 8; пожалуй, сходны и по настроению. Интересно отметить, что стихи 1 и 3, представляющиеся в общем сходными вначале, дифференцированы во второй половине благодаря ударению. Если попробовать сделать в стихе 3 ударение на *тень*, то сразу чув-

ствуется бессмысленность такого ритмизирования, и едва ли Пушкин имел его в виду.

Наконец, что касается самого ямба, то мне неясен его смысл, так как мне недоступен эксперимент, являющийся основой всего моего исследования: я не могу представить себе пьесу Пушкина, например, в хорях.

Надо заметить, что под ямбом я разумею лишь факт отсутствия ударения на нечетных слогах.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ФОНЕТИКЕ

Боюсь, что этот отдел выйдет самым бедным. В чем или в ком лежит причина этого, тоже затрудняюсь сказать. Может, во мне, может, в Пушкине, а может, и в полной неразработанности относящихся сюда вопросов. Возможно, что и все три момента имеют значение в данном случае.

Рифмы, на мой взгляд, играют в данном стихотворении лишь роль ритмических акцентов, и сами по себе не имеют значения: недаром ни одна пара не носит на себе фразового ударения, благодаря чему они все как бы немного спрятаны. Исключение составляет рифма Н, которая является заключительной и может быть со всеми оговорками до некоторой степени уподоблена кадансу (возврат). Из остальных семи пар в четырех случаях один из членов рифмы является ударенным, но только один случай (В) падает на женскую рифму, которая, по совести, и ощущается довольно неприятно, хотя эффект ее всячески и ослаблен особым строением стиха 4 (см. выше, стр. 34).

О „словесной инструментровке“ ничего не могу сказать: я ее не слышу в данном стихотворении и полагаю, что вообще значение ее как выразительного средства для русского языка несколько преувеличено в последнее время (об этом, может быть, надо поговорить подробнее и отдельно).

Что касается „мелодии“, то вопрос представляется настолько сложным и настолько мало изученным, что я предпочитаю его совсем не касаться в данном контексте (несколько общих соображений по этому поводу я собираюсь изложить в особой статье, посвященной интересной книге Б. Эйхенбаума „Мелодика стиха“ [Петроград, 1922]).

Кое-какие замечания позволю себе сделать о выразительной силе большего или меньшего скопления неударных слогов во фразе, и, может быть, специально в ритмизированной фразе. Андрей Белый, по-моему, замечательно удачно установил здесь три случая*: 1) скопления неударных слогов нет; 2) скопление неударных слогов падает на конец слова и 3) скопление неударных слогов па-

* Я несколько упрощаю систематизацию Андрея Белого, которая является чересчур дробной, а потому, может быть, и несколько искусственной с точки зрения семантической.

дает на начало слова. Кажется, мне удалось осознать и семантику этих трех типов, и ее *ratio*, чего не сделал Белый.

В первом случае мы имеем дело с некоторым замедлением речи, как уже отмечал Белый, а главное — с некоторой большей логической расчлененностью и насыщенностью, что конечно находится в связи с тем, что отсутствие скопления неударных слогов может иметь место лишь при максимальном числе смысловых единиц в данном отрезке речи. Наилучшей иллюстрацией этого положения является сопоставление стихов 4 и 10, с одной стороны, и стиха 14 — с другой. Думается, что всякие дальнейшие комментарии излишни.

Различие второго и третьего случая покоится на психофонетическом различии предударных слабых слогов русского слова от заударных. Если сравнить, например, две формы одного и того же слова *голова́* и *го́лову* и попробовать произносить их нараспев, протягивая каждый слог: *га-ла-за́* и *го́-ла-ву*, то в первом случае не возникает никаких затруднений, между тем как во втором — неударенное *а* окажется очень неприятным для нашего языкового сознания (само собой разумеется, что для литературного наречия *о* не будет лучше). Еще удобнее то же самое можно констатировать на такой паре слов, как *молодо́й* и *мо́лодость* (*ма-ла-до́й* и *мо́-ла-дасть*): прояснение всех заударных слогов во втором случае встречает решительные препятствия.

Дело в том, что в русском языке лишь заударные слоги являются и психически слабыми слогами, неспособными к прояснению (за исключением слогов, имеющих морфологически-синтаксическое значение); все предударные слоги способны к двоякому произношению — слабому и сильному, расчлененному. Благодаря этому во втором из трех вышеуказанных типов (скопление неударенных слогов падает на конец слова) темп стиха всегда ускоряется, но зато сильно выдвигается предшествующий сильный ударенный слог вследствие резкой разницы между этим удлиненным слогом и рядом следующих коротких. Таким образом выдвигается и все слово на первый план сознания. Это можно наблюдать лучше всего на стихе 6 (слово *томительного*) по сравнению со стихом 8, в общем очень сходном (слово *сердечной*), где разница эта особенно подчеркивает смысловой оттенок: *томительного* — явно центральное место в стихе, тогда как в стихе 8 едва ли какое-нибудь слово нуждается в чрезмерном усилении. Менее ярких примеров (с двумя неударенными слогами) можно найти целую кучу. Отмечу, например, стихи 1 и 3 (*для смертного* и *полупрозрачная*), где это очень хорошо сделано, в противоположность стиху 5 (*для меня*), начало которого решительно неудачно: для того чтобы парализовать в нем этот стилистический недостаток и выдвинуть *для меня*, приходится заметно усилить его ударение. Отмечу еще стихи 11 и 13 (*воспоминание* и *с отвращением*), о которых, впрочем, см. и на следующей странице.

Третий тип (скопление неударенных слогов падает на начало слова) может иметь двойное значение: если неударенные слоги остаются слабыми, то получается ясное ускорение, но без выдвигания слова — хорошими примерами являются конец стиха 14 (о его начале см. ниже, на этой же странице), стих 2 (*и на немые*), стих 8 (*угрызенья*).

Если же неударенные слоги проясняются, то получается замедление, медленное развертывание действия, некоторая величавость и т. п., однако без логической насыщенности первого типа. Прекрасными примерами являются стихи 11 и 13: *ва-спа-ми-нание* и *сам-вра-щением*. Менее ярких примеров опять-таки множество: стих 5 (*в тишине*), стих 12 (*развивает*), стих 16 (*не смываю*). Насчет начала стиха 14 полагаю, что оно тоже подойдет сюда, хотя подобное чтение и не так абсолютно диктуется смыслом, однако *я трепещу* нельзя прочесть так же, как *и проклиная* вследствие неполной проклитичности *я*. Чтение получается такое: *я-тре-пе-щу и проклиная*, где первая часть все же подчинена второй, так что они обе составляют одно целое. Может быть, и со смысловой точки зрения это чтение является правильным*.

В заключение несколько отдельных замечаний: 1) слово *безмолвно* (стих 11) кажется мне фонетически выразительным благодаря тавтосиллабическому сочетанию *-ол-* (ср., например, *безлюдно*), которое своей какой-то протяжностью, плавностью усиливает впечатление от предшествующего *ва-спа-ми-нание*; 2) слово *длинный* со своим фразовым ударением, которое пресекается долгим *н*, является удивительно выразительным именно благодаря этой задержке на *н*, производя впечатление бесконечно долго *развивающегося свитка*; 3) слово *жизнь*, думается, надо читать, не пропуская *нь*, что вызывает некоторую заминку (оно — зародыш лишнего слога), усугубляющую впечатление насыщенности, получаемое от отсутствия скопления неударенных слогов.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО МОРФОЛОГИИ, СИНТАКСИСУ И СЛОВАРЮ

Стихи 1—6. Обстоятельственные выражения *для смертного* и *для меня* вынесены вперед для оттенения лежащего в них противоположения.

Умолкнет и *наляжет* поставлены перед своими именительными падежами для достижения большей компактности соответст-

* Пользуюсь случаем, однако, указать, что не надо всегда во что бы то ни стало разыскивать смысловые ассоциации в каждом отдельном случае. В языке постоянно имеются более или менее „пустые места“, т. е. места, не имеющие существенного значения, по крайней мере для говорящего. Таким пустым местом являются в большинстве случаев формы грамматического рода имен существительных в русском языке (однако в поэтическом языке они могут сохранять то или другое значение). Таким пустым местом является употребление формы родительного падежа вместо винительного после отрицания или, например, после глаголов *хочу*, *ищу* и т. п. Таким пустым местом являются во французском языке некоторые случаи употребления *subjonctif* и т. д., и т. д.

венных фраз и для уменьшения их глагольности: при нормальном порядке слов (*шумный день умолкнет и ночи тень наляжет*) глаголы очень выиграли бы в своей значительности и придавали бы всей фразе повествовательный характер, что, однако, было бы совершенно неуместно, так как мы имеем здесь дело с картиной без особой временной перспективы. Между прочим, благодаря этой затушеванности глаголов ассоциации слова *наляжет* не успевают прийти в движение, и его тяжеловесность вовсе не ощущается. Этот эффект усиливается еще и вынесением вперед замечательного слова *полупрозрачная*, о котором см. ниже, стр. 42, и которое благодаря этой расстановке заняло доминирующую роль в стихе, подавляя в нем все остальное. Точно так же слова *влачатся в тишине* в стихе 5 поставлены перед их именительным падежом для большей компактности и для уменьшения глагольности *влачатся*. Это становится совершенно ясным, если попробовать употребить нормальный порядок (*часы томительного бденья влачатся в тишине*). При этом самое слово *влачатся* становится комичным.

В общем то же мы наблюдаем и в стихах 7—8: *живей горят ... угрызенья*, и в стихе 10: *теснится тяжелых дум избыток*. Обратное, и с полным основанием, наблюдается в стихах 11—12, где рисуется медленно протекающий процесс.

В целях большей компактности и весь стих 2, представляющий собой обстоятельственные слова для предложения стиха 3, вынесен вперед, дабы не нарушать повествовательным тоном всей картины.

В тех же целях приименный родительный может быть поставлен перед своим определяемым. Дело в том, что приименный родительный, будучи поставлен после своего имени, склонен составлять особую группу, особенно если он имеет еще и свое определение.

Следствием этого является то, что определяемое тоже оказывается более или менее самостоятельным, и как бы мы ни усиливали логическое ударение на родительном определительном, эта самостоятельность не ослабляется. Ослабление определяемого, по-видимому, может быть достигнуто лишь постановкой родительного с логическим ударением перед его определяемым, ср., например: *я слышу голос врага* и *я слышу врага голос*. Это и имеет место в стихе 4 (*дневных трудов награда*, где *награда*, конечно, должна быть ослаблена по причинам, изложенным выше, на стр. 34). То же самое видим и в стихе 8: *змеи сердечной угрызенья*, где опять-таки *угрызенья* должно быть затушевано (ср. *угрызенья змеи сердечной*).

Наоборот, в стихе 6 мы имеем нормальный порядок слов: *часы томительного бденья*, так как *часы* представляется важным и значительным словом. В стихе 10 — *тяжелых дум избыток* — слово *избыток* не нуждается в особой затушеванности, а потому фразовое ударение могло бы стоять и на нем (я не стою в дан-

ном случае за свое чтение), и обратный порядок слов вызван, кажется, общим строем всей фразы, стремящейся к компактности: *в уме подавленном тоской | теснится тяжких дум избыток, а не избыток тяжких дум теснится в уме*, что имело бы повествовательный, а не изобразительный характер. Само собой разумеется, что тон повествования здесь был бы совершенно неуместен. То же самое мы имеем и в стихе 3: *полупрозрачная наляжет ночи тень*, с тою только разницей, что логическое ударение на слове *ночи* вызвано, как это было указано уже выше, противоположением со словом *день*. Впрочем, когда примененный родительный не имеет при себе определения, его тенденция к самостоятельности не так сильно сказывается, а потому мы имеем в стихе 2 *стогны града*, что, конечно, значит „градские стогны“.

Что касается стиха 4, то, чтобы понять особенность его конструкции — отсутствие ясной грамматической связи с предшествующей фразой, — надо иметь в виду следующее: оборот *и наступит (?) сон ...*, т. е. построение третьего самостоятельного члена (первый — *умолкнет... день*; второй — *наляжет... тень*), был бы неуместен, так как, не выделяя *сна*, разъединял бы два факта, тесно связанных, если даже не говорить о трудности найти подходящий глагол. Но и оборот *налягут (?) тень ночи и сон...*, разрушая прелесть стиха 3, не давал бы *сну* надлежащей значительности. Прозаический синоним начала стиха 4 был бы: *а вместе с нею и сон*; но это была бы такая пошлая конкретизация, что единственным выходом из положения является употребленный Пушкиным „скобочный“ оборот, тем более удобный, что он позволяет не употреблять никакого глагола и таким образом усилить впечатление некоторой недоговоренностью.

Слово *смертного* (конечно, не *смёртного*) представляется возвышенным, как книжное; но мало кто знает, что его содержательность зависит от того, что это вовсе не производное от *смерть* (как *книжный* от *книга*), а старое отглагольное прилагательное со значением „долженствующий, могущий“ типа *неизреченный*, типа совершенно вымершего в русском языке (вымершего семантически, но не морфологически).

В слове *умолкнет* (а не *замолкнет*, например) останавливает на себе внимание весьма выразительный префикс *у-*, обозначающий „прочь“ (ср. *унесет, уведет* и т. д.).

Слово *шумный*, хотя и является прилагательным от *шум*, однако в нашем сознании представляется производным от глагола *шуметь*, откуда и заимствует свою выразительность, являясь своего рода причастием в зародыше.

Немые на первый взгляд может представиться стереотипной метафорой; однако на самом деле оно гораздо значительнее: улицы, площади, дома — немые, молчащие, не говорящие, но что-то знающие и т. д. Если этот ассоциативный ряд сопоставить с *полупрозрачностью ночной тени*, то получится то что-то таинственное, что нас так прельщает в полусумраке петербургских белых ночей.

Стогны града для нас очевидно устарелое выражение: *стогны* просто даже непонятно, но и *града* вместо *города* не мотивировано. Полагаю, что для Пушкина это были все-таки в значительной мере живые слова, и во всяком случае он их чувствовал иначе, чем мы.

Слово *полупрозрачная* имеет в себе три ярких семантических элемента: „половинный“, „сквозь“, „смотреть“, а потому является в высшей степени выразительным словом, богатым сложными ассоциациями. Из этих элементов два последних придают слову действенный, глагольный характер, а первый — ту таинственную дымку, о которой была речь выше.

Относительно *ночи тень* нужно заметить, что здесь разумеется не „мрак“, а „отбрасываемая тень“, что в связи с *полупрозрачная* и *наляжет* дает впечатление какой-то полупрозрачной завесы, опускающейся на город, — может быть, крыльев какой-то волшебной птицы-ночи и т. п. Само собой разумеется, что я вовсе не хочу сказать, чтобы здесь рисовался какой-либо конкретный образ; наоборот, всякая попытка чересчур конкретизировать этот образ оказывается неприятной, пошлой, и вся прелесть состоит в неясности, в том, что наше воображение лишь слегка толкается по некоторым ассоциативным путям искусным подбором слов с их более или менее отдаленными ассоциациями (с их „ореолами“, как я это себе позволяю называть в лекциях).

Относительно *трудов* следует напомнить, что хотя это и синоним *работы*, однако имеет некоторый привкус в смысле „мучений, тягот“ и т. п.

Часы в данном случае не в смысле времени, а именно конкретно, в смысле следующего одного за другим часа.

Томительный — очень выразительное прилагательное благодаря тому, что сохраняет живую связь с глаголом (ср. *утомительный*, уже утратившее эту связь). Почему самый глагол *томить* представляется, по крайней мере для меня, таким выразительным, мне неясно. Может быть, потому, что объем слова сравнительно невелик и содержание его от этого более определено. Может быть, оттого, что значение „морить, тушить в печи“, в общем литературном языке неупотребительное, а потому мало осознанное как самостоятельное, дает слову всю выразительность.

С точки зрения нашего современного языка предпочтительнее было бы *бдения* вместо *бденья*, т. е. большее сохранение глагольности, но, по-видимому, во времена Пушкина отношение к этим фактам было иное (ср. у Крылова: „чтоб от пенья его отвадить“ [„Откупщик и Сапожник“] — мы бы сказали *от пения*).

Стихи 7—12. Вынесение вперед слов *в бездействии ночном*, полагаю, не требует объяснений.

О порядке слов в стихах 7—8 сказано было выше (стр. 40), причем особенно характерной является спрятанность слова *угрызенья*, которое, попав в фокус внимания, вызвало бы, пожалуй, комические ассоциации.

Живей горят сильно выдвинуто, чему способствует и его место в начале фразы, и это понятно, так как здесь эмоциональный центр фразы, причем особенно интересным является слово *живей*, во-первых, своей сравнительной степенью без непосредственно данного термина для сравнения и, во-вторых, своими смысловыми ассоциациями. Дело в том, что не говорят ведь: *эта рана у меня живо горит*, но говорят: *живо вспоминается*; кроме того, говорят о *живом мясе*, говорят по *живому месту* и т. п. По-видимому, вся эта совокупность ассоциаций и действует на нас. При этом любопытно отметить, что мы совсем не чувствуем непривычности этого выражения; наоборот, оно кажется нам в высшей степени удачным и выразительным.

О порядке слов в стихах 9 и 10 достаточно было сказано выше: он вызван стремлением к большей компактности, изобразительности и к ослаблению повествовательного тона.

Я полагаю, что образы, данные в стихах 9—10, несмотря на все их различие, сплетены друг с другом: *мечты кипят*, т. е. находятся в непрерывном движении; одна другую *вытесняет* на поверхность сознания; отсюда они *теснятся* уже в уме, просторное вместилище которого придавлено низким сводом *тоски*, а потому *тяжкие думы* не все теряются в свободном пространстве, и *избыток* их все время попадает в светлую точку сознания. Само собой опять-таки разумеется, что все это не образы, непосредственно находящиеся в сознании, а лишь подсознательные возможности, которые сковывают, однако, всю картину в одно целое и которые то там, то сям попадают и в сознание.

Мечты как будто в нашем языке приобрели значение чего-то во всяком случае приятного. Этого обязательного элемента раньше не было, и *мечты* значило просто „продукт воображения“.

Тоска — слово очень выразительное; может быть, потому, что сохраняет следы более конкретного значения, из которого получилось значение „тошно“ (ср. польское *ckliwie* из **tskliwie*, а может, и самое русское *тошно*).

Слово *дума* представляется поэтическим, вероятно, потому, что, будучи само неупотребительным в обыденном языке, оно связано с самым употребительным обыкновенным глаголом и ощущается поэтому очень глагольным, чего вовсе нельзя сказать о слове *мысль*.

Избыток, конечно, в смысле „излишек, остаток“.

Все построение стихов 11—12 рассчитано на выражение медленно проходящей перед духовным взором вереницы воспоминаний. О том, что слово *воспоминание* по своей фонетической природе хорошо поддается медленному расчлененному чтению, было сказано выше (стр. 39); следует прибавить только, что оно является дифференцированным психологическим подлежащим, на котором задерживается наше внимание, как на первом члене предложения, что и выражено „паузой сказуемого“, символизируемой в моем тексте тире (ср. *мечты кипят* в стихе 9, где расчленения на

подлежащее и сказуемое вовсе нет). Психологическое сказуемое тоже разворачивается постепенно: *безмолвно* (об особой фонетике которого см. выше, стр. 39) составляет отдельную фразу и вынесено вперед, так как под его знаком протекает все последующее. *Предо мной* вынесено вперед для компактности, а *свой длинный* отделено от своего определяемого как самое значительное по изобразительности слово (о его фонетике см. выше, стр. 39).

Из слов любопытны: *развивает* — обилием семантических ассоциаций (*раз-*, *ви-* и *ва-* как суффикс повторяющегося действия) и *свиток* — живописью своего словопроизводства, особенно рядом с *развивает*.

Стихи 13—16. Особенно любопытно здесь *и*, которым присоединяются эти четыре стиха к последнему элементу предшествующего целого. Оно несколько разрушает логическую стройность построения и дает впечатление некоторого прорвавшегося под влиянием аффекта потока речи.

Оборот с деепричастием в стихе 13 очевидно относится ко всему последующему, не составляя одного целого с предложением стиха 14. Это последнее составляет первое звено в цепи фраз, идущей до самого конца, и здесь очень выразительны это повторяющееся *и* (не смешивать с первым *и*), которое не может исчерпать всего душевного состояния человека ассоциативно прибавляющимися элементами, и заключительная строка с *но* и с полной переменой тона, тембра и темпа. Замечательно, что в помощь *и*, для большой ритмичности, в стихе 15 *горькие* переделано в *горько* (хотя, конечно, *слезы горькие льет молодец*).

Жизнь мою в стихе 13 вместо *мою жизнь* объясняется, по моему, желанием разбить несколько одно целое понятие и задержать на нем внимание слушателя (ср. выше, стр. 39, сказанное о слове *жизнь*). То же надо сказать и о *строк печальных* в стихе 16.

Из слов отмечу *отвращение*, как очень выразительное слово; но объяснить, на чем эта выразительность основывается, к сожалению, сейчас не в состоянии.

О *я трепещу* было сказано выше (стр. 39). Добавлю только, что повторяющееся *е* может быть использовано для выражения идеи повторности действия.

О единстве того душевного состояния, которое выражено здесь (стих 14) двумя глаголами, уже говорилось раньше (см. стр. 33).

Выразительность слова *проклинаю*, между прочим, основывается на энергичных смысловых ассоциациях префикса *про-*.

Выразительность слова *горько*, пожалуй, не требует объяснений.

Май — октябрь 1922 г.





ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРФОГРАФИИ И ИХ СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

[ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЙ СЪЕЗД 26 ФЕВРАЛЯ — 5 МАРТА 1926 г.
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ, БАКУ, 1926]р.

Я не льщу себя надеждой, что скажу что-нибудь абсолютно новое для тех, которые всю свою жизнь посвятили науке о языке, размышлению о письменности и т. п. Область, конечно, в общем известная, но я адресуюсь к тем практическим деятелям, жизнь которых, по роду их деятельности, связана тесно с этим вопросом. Думаю, что, может быть, удастся дать тот или другой толчок мысли. Прежде всего позвольте остановиться на одном частном, предварительном вопросе. Дело в том, что даже в научной литературе, в учебниках, по которым, может быть, многие или некоторые из вас учились или, которые, во всяком случае, читали, существует смешение вопросов алфавита и вопросов орфографических. Позвольте поэтому остановиться на этом.

Совокупность всего вопроса о письменности имеет три стороны.

Первая — это вопрос собственно о письме, о шрифте, о форме этих зрительных значков вне всякой связи с чем бы то ни было, вопрос, которому, сколько мне известно, будет посвящен один из дальнейших докладов, вопрос большой и очень важный.

Другой вопрос — вопрос алфавита вне орфографии, только алфавита, вне всякой ассоциации, вне всяких связей со словами, со смыслом; чтобы сказать еще проще — все вопросы о том, как писать и читать, не зная смысла слов. Ведь это вполне возможно — писать и читать, ничего не понимая. Эти вопросы и будут алфавитными.

И, наконец, как писать и читать реальные слова? Тут могут быть разные принципы. Например, — кажется, это я читал в некоторых руководствах, — в русском языке буква *о* иногда обозначает букву *а*, пример всем известный: говорится „вада“, а пишется *о*. Это, конечно, совсем неправильно. В русском алфавите *о* никак не значит *а*, а это вопрос орфографии. Когда мы пишем *вода* через *о*, то хорошо сознаем и понимаем, что так мы звук *о* изображаем вопреки тому, что слышится, и в силу каких-то особых других соображений, о чем у нас будет речь впереди. Другой пример: в *каво*, *чево* пишется *з*, произносим *в*. И это не зна-

чит, что русское **з** имеет значение **в**. Это в вопрос алфавита никак не входит. И наоборот, во французском буква **g** произносится перед **e, i, y** как **ж**, перед **a, o, u** как **г** — это правила алфавита. Может быть, на этих примерах выясняется, что такое алфавит.

Теперь перейду к теме об орфографии. Принципов четыре: 1) фонетический, 2) этимологический, или словопроизводственный, иначе морфологический, 3) исторический и 4) идеографический. Ну, фонетический — ясно. Это означает, что как пишется, так и произносится. В русском и во многих других языках есть много слов, которые пишутся так, как произносятся, без всяких хитростей. Это лучше всего видно в итальянском языке. Там алфавитные ассоциации сложные, но орфографический принцип в основе фонетический. В немецком тоже, в известной мере, может быть, в большей мере, чем в русском языке, принцип фонетический. Во всяком случае до 80% немецких слов можно читать, зная хорошо правила алфавита, которые, к сожалению, не всегда известны, можно до 80% слов читать, не зная языка, не зная этих слов.

Другой принцип — этимологический, или словопроизводственный. Слова пишутся так, как по родству слово выходит, или, вернее даже, по родству частей слов, корней, префиксов, суффиксов и окончаний. Пример из русского: *вода*. Почему пишется *вода*? Потому что есть слово *водный*. *Просьба*. Фонетически там слышится **з**, но пишем именно **с**, потому что есть слово *просить*. *Стлать* пишем через **т**, потому что *стелет* пишем с **т**. *Слать* по аналогии с *шлет*, без **т**. *Мáсло, сáло* — на конце пишем **о**. Тут вопрос орфографии окончаний. Почему? Потому что окончание среднего рода **-о**: *окно́, яйцо́* и т. д. *Огурчик* — **-чик**, но *мешочек* — **-чек**. Почему? Потому что по аналогии с *денек* — *денька*, *хвостик* — *хвостика* и т. д. В немецком *Mundart* (наречие) пишется **д**, хотя слышится **т**, потому что этимология этого слова такая, которая производит его от *Mund* — *Mundes*. Еще, например, *vierzehn* (четырнадцать) произносится с кратким **i**, но пишется **-ie**, потому что есть слово *vier* (четыре) с долгим **i**, и т. д. Но более последовательно развит этот принцип в русском языке.

Следующий принцип исторический. Он состоит в том, что пишут так, как писали предки. Из русских примеров назову слово *собака*. Пишем **о**. Почему? Нет сейчас никакого резона, кроме того, что так писали раньше. *Кого, чего* пишут через **з**. Почему? Мы же ясно произносим **в**. Так писали предки. Конечно, сложности разные есть. Это специально древнеболгарское писание, но это все равно. Сейчас для нас это принцип исторический. Различение **ь** и **е** при старой орфографии — это тоже исторический принцип. Русской традиции этот принцип совершенно несвойствен, поэтому, между прочим, это различие **ь** и **е** так легко можно было убрать. Но другие языки очень придерживаются исторического принципа, в частности больше всего французский и, осо-

бенно, английский. По-английски пишется *night*, произносится „найт“, по-французски пишется *aiment*, произносится „эм“. Это все случаи, когда мы пишем так, как писали предки. Конечно, предки в большинстве случаев не зря так писали. Действительно, они так и произносили, как писали. Правда, не всегда так бывает, но в большинстве — это отражение прежнего языка.

Четвертый принцип — идеографический. Примеры: в русском языке мы пишем, скажем, *мяч* без мягкого знака, *ночь* с мягким знаком. Это не имеет никакого значения фонетического, но имеет значение смысловое. Так и формулируется правило: „Если слово мужского рода — нет мягкого знака, женского рода — есть мягкий знак“. Так что это просто отражение некоторого смысла. Суть идеографического принципа состоит в том, что знаки ассоциируются непосредственно со смыслом, минуя звук. В известной мере сюда можно отнести такие случаи из французского языка, как множественное число. Оно тоже не слышно, когда мы читаем, но на письме вызывает у нас представление множественного числа непосредственно.

Какая же социальная значимость всех этих четырех принципов?

Почему я говорю о социальной значимости? Потому что язык — явление социальное и по своему существу служит для общения между людьми, сплачивает группы, а письмо и подавно по самому существу вещей еще, может быть, больше, чем устный язык. Так вот фонетический принцип „пиши, как говоришь“ является, конечно, самым демократическим принципом, самым легким, самым простым. Выучи алфавит — и дело готово: и читаешь, и пишешь без ошибок, все в порядке. Однако здесь есть большое „но“. Дело в том, что это совершенно справедливо, пока идет речь о маленькой группе лиц, о каком-нибудь одном говоре, для него это действительно так: как говоришь, так и пиши. Но обыкновенно, по существу вещей, письменность не предназначается для маленького круга лиц. В большом же кругу лиц неминуемо обязательны значительные колебания, и поэтому фонетический принцип теряет весь тот смысл, который ему можно было бы, на первый взгляд, приписать, потому что для громадного большинства людей это будет все-таки всегда: „пиши не так, как говоришь, а как говорит кто-то там, где-то“. Позвольте привести несколько примеров. Например, по-русски говорят *хвасталса* и *хвастался*, и то и другое произношение существует, в учебниках орфоэпии, т. е. науке хорошего произношения, даже рекомендуется говорить *-са*. Как быть? Если иметь в виду принцип: „пиши, как говоришь“, то каждый писал бы на свой образец. Этимологический образец говорит: пиши *-ся*, потому что *взялся*, *дался* и т. д. Еще пример. По-русски говорят *голубь* и *голуб*, с мягким и твердым на конце, и если бы каждый писал, как он говорит, то был бы большой разнобой. А этимологический принцип говорит: „пиши мягкий знак, потому что *голубя*, *голубю* и т. д.“. И в другом еще отношении этимологический принцип яв-

ляется важным. Русский префикс — предлог *с*. Ведь он имеет очень много произношений: *с* (*с*) *кошкой*; *с* (*сь*) *типом*, *с* (*з*) *домом*, *с* (*зь*) *делом*, *с* (*ш*) *чем*, *с* (*ж*) *жиром*. Итак, вы получаете 6 видов *с*. Едва ли это удобно.


Многие народы, однако, не применяя широко этимологического принципа, находятся в таком же положении, т. е. имеют массу говоров и большие затруднения в письме. Но эти народы выходят из положения. Там не только вопросы письма, но и вопросы произношения играют большую роль. Так, в Германии и Франции вопросы произношения обследуются; правильному, хорошему произношению обучают и, таким образом, парализуют диалектические различия. Для ряда народов, в том числе и русского, это дело безнадежное, и в конце концов при соблюдении фонетического принципа получается такое положение вещей, что приходится просто зубрить самым бессмысленным образом, как пишутся слова, потому что при фонетическом принципе нет никакого решительно принуждения в языке, есть только принуждение со стороны, а этимологический принцип дает объяснение правописания в самом языке. Сошлюсь на мой большой педагогический опыт. Молодые люди, которые говорят на другом диалекте, чем я, всегда со мною спорят при начале обучения, почему именно так, почему надо „акать“, а не „окать“. Действительно, особых резонансов нет.

Исторический принцип в орфографии ясным образом имеет значение связи с прошлым; здесь очень важно то, что он соединяет нас с опытом предков. Опыт предков накоплен в литературе, книге, библиотеках, и историческое правописание, исторический принцип позволяет пользоваться легко всем этим опытом предков. Если бы англичане порвали с исторической орфографией, которая нам причиняет бездну затруднений и неприятностей, то они поставили бы очень и очень многих людей в печальное положение, потому что новообученные не могли бы читать старых книг, не могли бы пользоваться благами старой, накопленной культуры. Я считаю, что народы должны постоянно, время от времени „чинить“ свою орфографию, для того чтобы не было этих страшных прорывов. Как опыт нам уже показал, реформа в русской орфографии не обусловила прорыва. Люди, пишущие по-новому, прекрасно читают старые книги. Но, тем не менее, исторический принцип имеет полный социальный резонанс для народа с многовековым прошлым.

Я полагаю, что практически для тюркских народов (хотя, конечно, я это говорю со всей осторожностью и со всей скромностью) самое правильное было бы — комбинация фонетического и этимологического принципов, комбинация в каждом отдельном случае своеобразная и разная, ибо правил общих тут никак нельзя дать. Вопрос этот практический, вопрос жизни, и жизнь должна подсказать правильное решение. Вопрос орфографии — мучительный и болезненный — и должен быть выработан в процессе жиз-

ненного опыта и в каждом данном случае, в данном языке и в данных отдельных конкретных случаях по-своему, по-разному. Главная цель моего доклада состояла в том, чтобы не увлекаться чрезмерно фонетическим принципом. Не отказываться от него отнюдь, но не чрезмерно увлекаться, ибо это может повлечь к большим затруднениям для того же дела, для которого, на первый взгляд, предназначен фонетический принцип,— это затруднило бы обучение грамоте и сделало бы это обучение страшно бессмысленным и противным. Почему так тебя заставляют писать? Этимологический принцип осмысляет это дело и делает его понятным для детей при правильной постановке, является возбуждающим мышление, возбуждающим интерес. Реформа русской орфографии привела к тому мнению в широких массах, что орфография — это вещь такая, что пиши, как хочешь, и очень серьезные люди стали думать так. Раньше ученые думали, что это просто практическое дело, жизненное, но, однако, с точки зрения жизни надо выдвинуть положение, что надо писать грамотно. Это социально совершенно необходимо и вытекает из очень простых вещей: это, так сказать, мысль о других, потому что безграмотное писание читать трудно, точно едешь в таратайке по мерзлой дороге. Так что писать грамотно требует социальная порядочность, уважение ко времени своего соседа. Надо приучать всячески к этому делу и стараться сделать его не бессмысленным, а осмысленным, и путь к этому лежит именно в этимологическом принципе.





НОВЕЙШИЕ ТЕЧЕНИЯ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА

[ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЙ СЪЕЗД, 26 ФЕВРАЛЯ — 5 МАРТА 1926 г.
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ, БАКУ, 1926]ª.

Я только что видел книжку проф. Чобан-Заде по методике преподавания языка и смущен тем, что, так как мой доклад будет носить, конечно, главным образом осведомительный характер, чтобы книжка не предвосхитила все то, что я хотел бы сказать, но, к сожалению, я не мог с ней познакомиться подробнее. Попробую в нескольких словах затронуть самый существенный вопрос. Смущен я также и тем, что в вопросах методики преподавания я могу быть у многих здесь присутствующих скорее учеником, нежели учителем, ибо я чувствую, что большинство или очень многие из вас — опытные учителя, работавшие на этом поприще и, во всяком случае, следившие в той или другой мере за литературой. Но, может быть, все-таки кое-какие точки зрения мне здесь удастся отметить, сколько-нибудь для вас новые. Прежде всего позвольте остановиться на таком существеннейшем вопросе, как методика обучения грамоте.

Два метода сейчас, так сказать, в ходу: с одной стороны, метод звуковой, с другой стороны, метод целых слов, или американский метод. Каждый из этих методов имеет свою естественную сферу применения. Американский метод, как и указывает его название, возник на почве английского языка и возник в силу того, что английский язык имеет историческую орфографию, такую; в которой очень трудно (если не невозможно) применить звуковой метод в чистом его виде. Там, действительно, правила соответствия между буквами и звуками крайне трудны, зачастую неуловимы. Поэтому сначала там дают слова целиком, как некие иероглифы. Потом, на основании достаточного запаса этих целых слов, разным образом, с разными видоизменениями, по-разному предоставляется детским мозгам самим упорядочивать эти соотношения.

Звуковой метод, конечно, главным образом приспособлен к фонетической орфографии. Там, где орфография фонетична, там, конечно, естественно применение звукового метода, и он дает наилучшие результаты. Американский метод сам по себе не имеет

никаких особенных секретов и преимуществ перед звуковым, он только, как я сказал, целесообразно адаптирован, применен к нуждам английского языка и ко всем тем языкам, которые имеют ярко выраженную историческую орфографию, т. е. такую, где произношение не соответствует написанию.

Почему у нас педагоги увлеклись американским методом? Это понятно. Потому что с американским методом в значительной мере соединяется наглядное обучение. Как известно, по этому методу начинают изучать сначала вещи, стараются, чтобы вещь, понятие вещи укрепилось в детском сознании, и потом к этому понятию приклеивают ярлык — написание. И эти знания по развитию образования понятий у детей представляются, с педагогической точки зрения, несомненно ценными. Не знаю, были ли проделаны опыты (мне думается, что нет), но а priori представляется мне одно, что звуковой метод подходит к таким языкам, которые имеют фонетическую орфографию. Обращая, в связи с этим, ваше внимание на то видоизменение звукового метода, которое употребляет Монтессори, о чем, конечно, вы все слышали (подробно я не буду останавливаться на монтессориевском методе), укажу только, что в русской литературе есть вышедшая несколько лет тому назад книжечка Фаусек „Обучение грамоте и развитие речи по системе Монтессори“. Там очень интересно изложены опыты в этом направлении, которые проводились известной в Ленинграде учительницей Фаусек. Правда, это главным образом проводилось в детском саду, но отчасти и в начальной школе. Суть я укажу в двух словах. Она заключается в том, что начинают сначала со списывания, т. е. начинают с приемов воспитания моторных элементов, а потом списывания различных писем так, что дети после этого различают совершенно свободно любое слово, но еще не читают его. Чтение происходит само собой, и этим избегаются те трудности моментов слияния, которые чрезвычайно затрудняют педагогов и детей. Но я не знаю, насколько широко это сейчас применяется. Конечно, кое-где опыты ставятся, но чтобы в широком масштабе это проводилось, я об этом не слыхал. Вот все по первому вопросу.

Теперь по второму вопросу. Большой проблемой является обучение письму, орфографически правильному письму. Был момент в истории нашей методики, когда говорили, что существующие способы обучения грамоте и грамотному письму плохи, когда пришли к убеждению, что грамотность есть механический навык, и как таковой его и нужно создавать, и тогда универсальным средством было списывание в том или другом виде с разных книг, диктантов, написанных не печатным шрифтом, а курсивным письмом и т. п. Все это обосновывалось на некоторых психологических опытах. Насколько я знаю, у нас в России в то время особенно было популярно имя Лая, которое, вероятно, вы все помните, и, грешным делом, я сам тогда, еще совсем молодой человек, в этом смысле высказывался на одном из первых съез-

дов преподавателей русского языка. За этот период времени, протекавший с тех пор, я несколько изменил свои мысли по этому поводу под влиянием данных моего опыта как учителя и как заведывающего средними учебными заведениями.

Списывание, в какой бы форме его ни применять, улучшенной и т. д., страшно механично, страшно удручает детей, и толку от него никакого не выходит потому, что они списывают скверно, с ошибками и, таким образом, механизм-то и не усваивается. Секрет, конечно, состоит в том, чтобы обратить внимание детей на внешнюю форму. Конечно, естественно, что внешняя форма языка является не целью, а средством, а внимание ускользает в большей мере на это списывание, которое есть самое худшее средство для того, чтобы заставить обратить внимание на эту внешнюю форму. Каковы же другие методы? Вот я думаю, что это должно быть сопряжено с разными чисто языковыми наблюдениями над языком. На русском языке это особенно хорошо получается благодаря тому, что один из принципов нашего правописания этимологический, он дает массу постоянных поводов для такого рода языковых наблюдений. В этом смысле есть книжечка одного ленинградского преподавателя из народных учителей, прекрасного знатока русского языка и любящего его; фамилия его Чернышев⁴. И вот, по-моему, те мысли, которые он там высказывает, уже довольно давно являются правильными. Он указывает, что достичь хороших результатов можно только тогда, если действительно сосредоточить внимание детей на самом языке, т. е. на формах языка, как на выражающих те или другие мысли, те или другие оттенки мысли. Это самое верное средство.

Перейду к третьему пункту, к развитию речи. Связан он с звучащей речью, с живым словом, с отходом звуков от букв. Вот отсюда такой термин, как „живое слово“. В Ленинграде был институт — Институт живого слова, и эта идея живого звучащего слова и здесь дала повод к тому, чтобы посвятить особое внимание умению строить речь сознательно, путем известных систематических упражнений. В сущности говоря, в развитие речи вливалось и известное грамматическое содержание, ибо речь строится на основании грамматического материала; в порядке целесообразности, в порядке того, как надо выразить ту или другую мысль, естественно обращается внимание детей на те или другие грамматические элементы. Дальше на этой теме я не буду останавливаться, так как, вероятно, вы все сами об этом слышали и читали, а может быть, и сами обучали. Скажу только, что монтессорианская система обучения грамматике, применявшаяся Ю. И. Вальман, также связана в большой мере с развитием речи. Скажу также, что обучение орфографии может и должно быть связано с обучением развитию речи в одно целое.

Дальше — пункт программы ГУСа, Государственного ученого совета, по русскому языку — о наблюдениях над языком. В

моей юности я также был одним из участников начала этого движения. Пункт этой программы представляется многим очень трудным и мудреным, и я с этим согласен, что на практике учительство часто затрудняется в этой области (по моим наблюдениям) за отсутствием достаточно хорошего лингвистического образования, ибо, действительно, чтобы заниматься этим с успехом, надо, конечно, самому любить язык и тонко его понимать. Это не так легко. Но здесь открывается большое поприще для развития детского ума. Я об этом больше не буду говорить, так как в следующем пункте приду к тому же.

Вы все находитесь, по-моему, в особо благоприятных условиях для занятия языком, потому что, по тем условиям, в которых мы живем, по условиям нашего национального возрождения тюркских народов, вы, естественно, все „патриоты“ своего языка. А это есть как раз залог для успешных занятий языком. В частности, пункт, к которому я перехожу, заключается в том, что и вы сами, и большинство ваших учеников зачастую являетесь двуязычными, т. е. знаете свой родной тюркский язык и в той или иной мере русский. Это обстоятельство, по моему глубочайшему убеждению, есть одно из самых благоприятных условий для развития ума и наблюдательных способностей, остроты этих способностей, ибо, когда мы являемся одноязычными, когда у нас один язык, очень трудно сосредоточить наше внимание на средствах выражения мысли. Мы ведь интересуемся самой мыслью, и остановить внимание на оболочке этой мысли, на языковой форме представляется крайне трудным. И вот лишь соприкосновение одного языка с другим на почве сравнений, — как одна и та же мысль в разных языках по-разному выражена, — естественным образом останавливает нас на средствах выражения и делает человека внимательным к тонким нюансам мысли и чувства. Это делает его, естественно, более восприимчивым к анализу и восприятию слова, произносимого и читаемого. Обыкновенно человек скользит по читаемому на своем родном языке в общих чертах, через пятое на десятое; а вот когда приходится иметь дело с другим языком, появляется вопрос: как это сказать? Вот тогда человек, естественно, начинает всячески углубляться, вдумываться в текст, в слова. Я думаю, что то двуязычие, которое в русской школе мы стремимся создать и, по крайней мере, должны бы стремиться создать путем серьезной постановки изучения какого-нибудь иностранного языка, немецкого или какого-нибудь другого, — это условие у вас всегда имеется. Мне кажется, что вы должны полностью использовать это условие, оно важно со многих точек зрения. Вот в каком смысле это важно. Каждый язык представляет нам мир внешний, воспринимаемый мир в своем особом виде. К сожалению, за недостатком времени я не могу показать вам этого на примере, почему прошу принять это на веру. В каждом языке мир представлен по-разному, понимается по-разному. Мы смешиваем вещи и слова — вещи воспринимаем так, как они даны в словах, и величайший акт культурного

развития состоит в освобождении мысли из плена слова. Масса заблуждений человеческой мысли на протяжении всей ее истории сводится к тому, что все рассматривается с какой-то узкой точки зрения, из какого-то одного центра и именно, в частности, из своего языка. Язык — наш благодетель, но он и наш враг, потому что он нас ведет к неправильным понятиям.

Изучение двух языков освобождает нас от влияния слова, показывает нам вещи так, как на самом деле они существуют в природе.

Следующее, на что я позволю себе указать, это на важное значение умения писать, т. е. как выучиться писать хорошо, стилистически хорошо владеть писанием. К сожалению, до сих пор все учатся в большинстве случаев как бы ошупью, — талант есть, ну и пишут. А между тем очевидно, что тут должна быть сознательность, какое-то умение оценить. Вот я написал. Как это можно понять? Уметь оценить — это значит переставить слова, прибавить словечки. Все ли это равно? Нет, не все равно. Сознательное отношение к слову, к значению всяких языковых элементов — предпосылка хорошего, правильного владения стилем. Когда каждое слово на своем месте, то что человек хотел сказать, может быть понятно только в одном направлении и не может быть толкований ни вправо, ни влево. Это есть результат — это точный стиль, который является результатом сознательного отношения к слову, сознательного изучения различных оттенков.

У меня есть еще один пункт. Так как в моем распоряжении имеется две-три минуты, я остановлюсь на нем.

Это относительно логической и формальной точек зрения в языке. Противопоставление совершенно неправильное, житейское. Логическое — это значит попросту старое, формальное — новое, но старое, конечно, хуже. Я всю жизнь занимался тем, что практиковал старое, но я вполне присоединяюсь к формальной точке зрения, лишь если под формой подразумевать не только суффиксы, префиксы и проч., но и разные формы синтаксические в широком смысле этого слова, т. е. и порядок слов, и сочетание слов, и интонацию. Тогда я совершенно согласен и тогда, конечно, очень большое значение имеет формальная точка зрения, понимающая под формой не только форму слова, но и форму синтаксическую, и всякие иные формы. Что тут важно? В частности, для вас всех это очень важно. Не надо искать в каждом языке тех категорий, которые имеются в русском, латинском, немецком и т. д. Виды в русском языке есть такие, каких нет во французском и немецком, и не надо их там искать.

Какие же категории надо искать? Надо искать те категории, которые нашли свое выражение, но, конечно, не только выражение в аффиксе, префиксе, суффиксе и т. д., но те, которые нашли себе выражение и в синтаксических формах в широком смысле этого слова.

Чтобы пояснить свою мысль, я приведу такой пример: я скажу: *А он трах его кулаком.* Вот *трах*, конечно, будет какой-то глагольной формой, потому что синтаксическое употребление будет глагольное, т. е. такое же, как у глагола. Этот пример должен иллюстрировать мою мысль по этой части.

Дальше я не буду задерживать вашего внимания, а скажу, что по этому вопросу, вероятно, в недалеком будущем выйдет моя статья о частях речи, специально посвященная русским учителям. Она появится во 2-м сборнике „Русская речь“, который выходит под моей редакцией.





БЕЗГРАМОТНОСТЬ И ЕЕ ПРИЧИНЫ

[„ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ“, 1927, вып. II]⁵

Доказывать, что грамотность наших школьников сильно понизилась, — значило бы ломиться в открытую дверь. Это обнаруживается на приемных экзаменах в высшие учебные заведения и техникумы; на уровне грамотности машинисток и переписчиц, недавно окончивших школу; при обследованиях школ, и вообще везде, где приходится наблюдать людей, обучавшихся письму последнее время. Не надо, конечно, думать, что в прежнее время по этой части все обстояло благополучно; вопрос о поднятии грамотности всегда стоял на очереди. Но надо откровенно признать, что сейчас этот вопрос приобрел совершенно необычную остроту и что вопли о недопустимой безграмотности питомцев нашей школы отнюдь не преувеличены. Надо откровенно признать, что этот пробел в нашем школьном деле дошел до размеров общественного бедствия, что об этом надо кричать и изыскивать меры для его изживания.

Может показаться странным, что после проведения реформы орфографии, которая и была задумана в значительной мере в целях облегчения достижения полной грамотности, результаты получились как раз обратные ожидаемым. Между тем нет ничего естественнее, и это можно было даже предвидеть. В самом деле, реформа облегчала орфографию, но не делала ее легкой, ибо орфография языка, употребляемого полтора сотнями миллионов людей, по самому существу вещей не может быть абсолютно легкой — почему, здесь было бы очень долго объяснять; скажу только, что полтора миллиона, расселенные на колоссальной территории, не могут говорить одинаково, а писать должны одинаково. Итак, реформа не сделала орфографию безусловно легкой, но зато в корне подорвала ее престиж.

Нам, филологам, было, конечно, всегда понятно, что орфография есть вещь условная и меняющаяся во времени; но широкие круги грамотных людей считали ее покоящейся на каких-то неизблемых основаниях. Для низших слоев грамотных людей эта самая грамотность была вообще пределом науки; уметь правильно расставлять яти значило быть „ученым человеком“. Для высших

слоев грамотных людей требования орфографии оправдывались наукой, и нарушать эти требования значило разрушать науку, значило разрушать родной язык, отрекаясь от его истории. Для того чтобы ясно представить себе эти прежние умонастроения, достаточно вспомнить о тех жарких спорах, которые велись на тему о том, как писать: *льчебница* или *лечebница*, *болъ* или *боле*, *ветчина* или *вядчина* и т. п.

Реформа орфографии наглядно, а потому безвозвратно, уничтожила все эти иллюзии. Оказалось, что можно писать *хлеб*, *снег*, *беспричинный* и т. д., и т. д., за что раньше ставили двойку, лишали диплома или не принимали на службу писцом. Практический вывод, который был сделан отсюда широкими массами, и не только ими, но и учительством, и не только низовым, но и средним, вообще почти всем обществом, был тот, что орфография — вещь неважная, пиши, дескать, как хочешь, не в том сила. Я утверждаю это не как собственный домысел, а как постоянно подтверждающееся наблюдение над жизнью и школой. Эта новая оценка орфографии была подкреплена свойственным всем революционным эпохам презрением к „форме“ и погоней за „существом“. В результате и получилась та недооценка значения орфографии, которая, по моему глубокому убеждению, и является коренной причиной современной безграмотности.

Что же делать? Прежде всего надо вернуть орфографии ее престиж, но, конечно, не тот традиционный, который заставлял держаться за каждую букву прошлого, и не тот псевдонаучный, которым орфография была окружена и которого на самом деле у нее не было, а тот реальный, который делает ее замечательным орудием общения миллионов людей.

В самом деле, ведь совершенно ясно, что если все будут писать по-разному, то мы перестанем понимать друг друга. Значит, смысл и ценность орфографии в ее единстве. Чем идеальнее это единство, тем легче взаимопонимание. Эти общие соображения вполне подтверждаются исследованием процесса чтения. Для полной успешности этого процесса необходимо, чтобы мы как можно легче узнавали графические символы, чтобы как можно легче возникали связанные с ними ассоциации. Все непривычное — непривычные очертания букв, непривычная орфография слов, непривычные сокращения и т. п. — все это замедляет восприятие, останавливая на себе наше внимание. Всем известно, как трудно читать безграмотное письмо: на каждой ошибке спотыкаешься, а иногда и просто не сразу понимаешь написанное. Грамотное, стилистически и композиционно правильно построенное заявление на четырех больших страницах можно прочесть в несколько минут. Столько же времени, если не больше, придется разбирать и небольшую, но безграмотную и стилистически беспомощную расписку.

Писать безграмотно — значит посягать на время людей, к которым мы адресуемся, а потому совершенно недопустимо в правильно организованном обществе. Нельзя терпеть неграмотных

чиновников, секретарей, машинисток, переписчиков и т. д., и т. д. И, конечно, по мере налаживания жизни, поднятие грамотности будет осуществляться самым безжалостным образом этой самой жизнью: плохо грамотных будут удалять со службы, а то и просто не принимать на службу; при прочих равных условиях предпочтение во всяких обстоятельствах будет даваться более грамотному и т. д., и т. д. Если мы не привьем детям грамотности, то мы не создадим общественно полезных работников и не исполним того, чего ожидают от нас жизнь и общество.

Позволяю себе к этому прибавить, что мы должны научить наших детей писать не только грамотно, но и четко, что не менее важно. Но это замечание непосредственно не относится к моей теме, а, с другой стороны, заслуживало бы более подробного развития. А потому я перехожу ко второй причине современной безграмотности.

Мне кажется, что она лежит в методах обучения орфографии. Дело в том, что лет 20—25 тому назад большое влияние на учительские умы оказали писания немецкого педагога Лая. Они переводились на русский язык, служили темой докладов на разных съездах и целиком влились в ходячие методики. Мне нет охоты — да это было бы здесь и неуместно — перетряхивать старые книжки и восстанавливать всю историю вопроса; скажу кратко, в чем была суть дела. Умение писать грамотно стало рассматриваться как известный благоприобретенный механизм, основанный на моторной и зрительной памяти. Поэтому основным методом для достижения этого умения стали признавать списывание с правильных образцов, а царствовавшей до того времени диктовке объявлялась жесточайшая война.

Что грамотность есть механизм или, говоря проще, что чем грамотнее человек, тем меньше задумывается он над самым процессом письма, — это несомненная истина. Однако такая формула слишком проста для действительности. Если, например, я не буду думать над тем, что сейчас пишу, то, конечно, навру и в употреблении *ь* в глаголах на *-ся*, и в употреблении префиксов и некоторых неударных окончаний, и во многих других случаях, не говоря уже о знаках препинания, механическое употребление которых ведет иногда, как мы знаем из практики, к полной безграмотности. Значит, хотя идеалом и является механизация процесса письма, однако лишь до известного предела, за которым процесс письма все же должен быть сознательным. Внимание должно задерживаться на некоторых формах языка, быстро их анализировать и соответственно решать ту или иную орфографическую задачу. Уже из этого следует, что механизация процесса письма никоим образом не даст абсолютной грамотности, и даже больше — она обязательно приведет к полуграмотности, так как не создаст привычки при писании быстро анализировать языковые формы.

С этой точки зрения и диктовки с отметками вовсе не такое плохое средство, ибо приучают с напряженным (подстегнутым)

вниманием быстро разрешать орфографические задачи. Но и механизации письма, важность которой я, конечно, вовсе не отрицаю, едва ли правильно достигать механическими средствами, ссылаясь при этом на старых писарей, которые за 15—20 лет научались писать вполне грамотно*. Ведь наша задача во всех областях знания — облегчить, ускорить это механическое обучение через его рационализацию. Идеалом, по-моему, является достижение необходимого предела механизации через сознательность, с тем чтобы эта последняя была налицо во всех нужных случаях и была наготове, когда механизм почему-либо хотя бы на минуту отказывается служить.

Но если с этим кто-либо и не согласится, то уже безусловно все должны признать, что необходимейшим условием приобретения механизма письма является абсолютная правильность списывания, что возможно лишь при максимальном напряжении внимания. Ну, а известно, конечно, что списывание — смертельно скучная вещь, что дети списывают крайне невнимательно и делают при этом нещадное количество ошибок. Из этого неопровержимо следует, что списывание следует сделать максимально сознательным, сосредоточивая внимание детей на языковых формах и их анализе. Наша орфография, будучи почти последовательно этимологической (словопроизводственной), дает этому богатейшую пищу. Она заставляет разлагать слова на составные части, подыскивать им родственные формы (*вод-а | вод-н-ый; стл-а-ть* = в произношении „слать“ | *стел-ю; добр-ым | зл-ым; земл-ян-ой | земл-ян-к-а*), находить соотношение между словами, группами слов (для знаков препинания) и т. п. Иначе говоря, для того чтобы приобрести механизм письма, необходимо заниматься языком и его грамматикой — вывод, который может показаться довольно банальным. Однако на нем следует настаивать, так как было время, когда многим из нас казалось, что орфографии можно научиться помимо занятий языком, что эти последние необходимы лишь сами по себе, а не для грамоты. Многие думали, а может и сейчас думают, что для того, чтобы научиться грамотно писать, следует только изгнать диктовки и заставить списывать с рукописного или курсивом напечатанного текста. В действительности дело обстоит далеко не так просто, как это прекрасно показал В. Чернышев в своей книжечке „В защиту живого слова“ (СПБ, 1912).

Между тем, отделив занятия языком от обучения грамоте, многие учителя, не имевшие склонности к занятиям языком или слабо к этому подготовленные, стали на практике понемногу все более и более пренебрегать ими. Таким образом, обучение правописанию повисло в воздухе, базируясь лишь на списывании. Я полагаю, что те результаты, которые сейчас налицо, получились в значительной степени благодаря разобранному методическому заблуж-

* Несомненно, что эти писаря сами себе вырабатывали системы орфографических правил, каждый свою, более или менее удачную.

дению или, вернее, благодаря поспешным и односторонним выводам из некоторых данных экспериментальной педагогики.

Итак, для того чтобы дети писали грамотно, им необходимо заниматься языком как таковым. Но здесь выступает третья причина современной безграмотности, которая состоит в том, что учителя в массе не любят и не умеют заниматься языком. Можно было бы подумать, что русские учителя не любят русского языка. Я верю, что это не так; я верю, что они любят русский язык, но любят его инстинктивно, не сознательно, не отдавая себе отчета, что и почему они должны в нем любить. А между тем для того, чтобы дети с успехом занимались языком, нужно, чтобы они его полюбили; а для того, чтобы дети полюбили язык, нужно, чтобы учителя заразили их своей любовью; но инстинктивная любовь, если она и есть, не может передаваться детям; она должна как-то реально выражаться и иметь свои точки приложения.

Почему же учительство не любит и не умеет заниматься языком? Да потому, что его этому не научили. Ведь в конце концов школьная наука всегда является в той или другой мере функцией университетской науки. И вот надо констатировать, что университетская наука второй половины XIX в. в области языка ничего не давала для школьной науки.

В связи с целым рядом обстоятельств, на которых здесь неуместно было бы останавливаться, языкознание этой эпохи целиком сделалось историческим, сосредоточившись притом почти исключительно на фонетике и морфологии. В этой области было сделано очень много, и языкознание в целом сдвинулось с мертвой точки, на которой оно находилось в XVIII в.; но все это было не для школы. Между тем языком как выразительным средством в современном его разрезе — главное, что нужно и важно в школе, — в науке почти что вовсе не занимались. Получился разрыв между университетской и школьной наукой, и даже больше — между университетской наукой в области языкознания и обществом (подробнее об этом см. в предисловии к первому выпуску „Русской речи“ [Петроград, 1923]).

Учительство было предоставлено самому себе и пробавлялось старым схоластическим материалом. Только в XX в. начинает замечаться поворот к языку, как выразителю наших мыслей и чувств; начинает все больше и больше подчеркиваться теснейшая связь языка и литературы. Но на этом пути пока сделано очень мало. „Об отношении русского письма к русскому языку“ И. А. Бодуэна де Куртенэ, „Сборник задач по введению в языковедение“ его же, „Очерк русского литературного языка“ А. А. Шахматова, „Синтаксисы“ Д. Н. Овсяннико-Куликовского и А. М. Пешковского, книги В. А. Богородицкого, В. И. Чернышева и Е. Ф. Будде, а в последнее время М. Н. Петерсона, Н. Н. Дурново и Л. А. Булаховского в научной литературе и книги Пешковского, Ушакова и Рыбниковой в школьной — вот почти все, что имеется по этой части. Достаточно сказать, что у нас вовсе нет словаря русского

литературного языка; нет хорошей полной грамматики (есть части ее, да и то на сербском языке); нет хорошего этимологического словаря (Преображенский, как известно, остался неоконченным); вовсе не разработана синонимика; нет стилистики. И говорить нечего, что почти нет хороших лингвистических разборов литературных произведений; нет хороших задачник и разных сборников упражнений по стилистике и по другим отделам языка и т. п.

Что же делать? Содействовать появлению соответственных трудов, всячески поддерживать их авторов, хлопотать о поднятии квалификации в области языка у студентов университета и педагогических вузов; коренным образом реформировать педтехникумы, имея в виду, что все слушатели педтехникумов будут прежде всего учителями русского языка, а потому должны любить* и хорошо знать его, понимать его механизм. Теперь, как я убедился отчасти и на личном опыте, слушатели педтехникумов занимаются и интересуются чем угодно, но не русским языком, и не могут сознательно отнестись к самому элементарному факту языка или правописания.

Вот три основные причины современной безграмотности, на мой взгляд. Но есть, конечно, много и других, побочных. На некоторые из них я и укажу в заключение:

1) С. А. Золотарев, анализируя ошибки современных школьников, приходит к заключению, что многие из них являются результатом распушенности. И с этим надо безусловно согласиться. Хорошая тетрадь, грамотное письмо, четкий почерк возможны лишь при большой внутренней дисциплине и подтянутости.

2) Как это ни звучит парадоксально, однако нужно сказать, что одной из причин понижения грамотности, одной из серьезных причин, являются „новые методы“. Конечно, не новые методы сами по себе — их можно только приветствовать, так как отсутствие новых методов означало бы застой педагогической мысли, — а то „усердие не по разуму“, которое проявляют некоторые администраторы. Многие из них решительно помешались на разных новых методах и расценивают школы и отдельных педагогов не по достигаемым ими результатам, а по тому, насколько они применяют новые методы. Пора вспомнить мудрое изречение, что суббота для человека, а не человек для субботы. Государству и обществу важны не школьные методы, а степень пригодности к жизни выпускаемых школою граждан. Первое же требование, предъявляемое жизнью, — это грамотность и умение читать книгу (и то и другое, конечно, и в узком, и в широком смысле). Методы же надо предоставить специалистам, ученым советам, исследовательским институтам, лабораторным школам, педагогическим обществам, съездам и т. п. Вопрос о методах — сложный. Универсальных методов нет. В каждом новом методе есть нечто ценное,

* Пусть читатель не смущается этим сентиментальным словом: заниматься с успехом все же можно только тем, что любишь.

чем надо воспользоваться; но едва ли в истории можно найти случаи, когда новые методы целиком могли бы быть с пользой применены в жизни. Между тем наши педагоги часто в погоне за новыми методами забывают о своих обязанностях перед детьми и обществом и не научают своих питомцев тому, что, несомненно, должно остаться при всяких методах.

3) Немаловажным является и вопрос о книгах. На разных коллоквиумах приходится поражаться малой начитанности наших школьников. Между тем механизм грамоты, несомненно, приобретает и чтением (я не буду здесь разбирать сложного вопроса о роли чтения в процессе создания грамотности; но что оно имеет большое значение в этом деле, не подлежит сомнению). Совершенно очевидно, что дети, которые должны овладеть литературным языком, должны читать наших классиков (к этому вопросу я надеюсь вернуться еще в особой статье), и читать их в большом количестве. Отчасти здесь может быть вина и школы, которая не умеет организовать этого чтения; но главную роль, — ибо чтение это должно быть самостоятельное и свободное, — здесь, по-видимому, играет большой недостаток книг, особенно в провинции.





О ЧАСТЯХ РЕЧИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

[СБОРНИК „РУССКАЯ РЕЧЬ“, НОВАЯ СЕРИЯ, II, Л., ИЗД. „ACADEMIA“, 1928]

В последние десятилетия в русском языкознании по поводу пересмотра содержания элементарного курса русской грамматики всплыл очень старый вопрос о так называемых „частях речи“. В грамматиках и словарях большинства старых, установившихся языков существует традиционная, тоже установившаяся номенклатура, которая в общем удовлетворяет практическим потребностям, и потому мало кому приходит в голову разыскивать основания этой номенклатуры и проверять ее последовательность. В сочинениях по общему языкознанию к вопросу обыкновенно подходят с точки зрения происхождения категорий „частей речи“ вообще и лишь иногда — с точки зрения разных способов их выражения в разных языках, и мало говорится о том, что сами категории могут значительно разниться от языка к языку, если подходить к каждому из них, как к совершенно автономному явлению, а не рассматривать его сквозь призму других языков.

Поэтому, может быть, не бесполезно было бы предпринять полный пересмотр вопроса применительно к каждому отдельному языку в определенный момент его истории. Не претендуя на абсолютную оригинальность, я попробую это сделать по отношению к современному живому русскому языку образованных кругов общества*.

Прежде чем перейти, однако, к русскому языку, я позволю себе остановиться на некоторых общих соображениях.

1) Хотя, подводя отдельные слова под ту или иную категорию („часть речи“), мы и получаем своего рода классификацию слов, однако самое различие „частей речи“ едва ли можно считать результатом „научной“ классификации слов. Ведь всякая классификация подразумевает некоторый субъективизм классификатора,

* Не могу не вспомнить здесь с благодарностью книгу Овсяннико-Куликовского „Русский синтаксис“, которая лет 20 тому назад дала первый толчок моим размышлениям над этим предметом. Из новой литературы я более всего обязан книге Пешковского „Русский синтаксис в научном освещении“, которая является сокровищницей тончайших наблюдений над русским языком.

в частности до некоторой степени произвольно выбранный *principium divisionis*. Таких *principia divisionis* в данном случае можно было бы выбрать очень много, и соответственно этому, если задаться целью „классифицировать“ слова, можно бы устроить много классификаций слов, более или менее остроумных, более или менее удачных. Например, можно разделить все слова на слова, вызывающие приятные эмоции, и слова безразличные; или на основные и производные, а первые — на слова одинокие, не имеющие родственных связей, и на слова, их имеющие, и т. п. Эту множественность возможных классификаций справедливо отметил Н. Н. Дурново в своей статье „Что такое синтаксис“ в № 4 „Родного языка в школе“, 1923 (см. его примечание на стр. 66 и 67). Д. Н. Ушаков в своем отличном учебнике по языковедению прямо учит, что возможны две классификации слов — по значению и по формам.

Однако в вопросе о „частях речи“ исследователю вовсе не приходится классифицировать слова по каким-либо ученым и очень умным, но предвзятым принципам, а он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой системой, или точнее, — ибо дело вовсе не в „классификации“, — под какую общую категорию подводится то или иное лексическое значение в каждом отдельном случае, или еще иначе, какие общие категории различаются в данной языковой системе.

2) Само собой разумеется, что должны быть какие-либо внешние выразители этих категорий. Если их нет, то нет в данной языковой системе и самих категорий. Или, если они и есть благодаря подлинно существующим семантическим ассоциациям, то они являются лишь потенциальными, но не активными, как например категория „цвета“ в русском языке.

3) Внешние выразители категорий могут быть самые разнообразные: „изменяемость“ слов разных типов, префиксы, суффиксы, окончания, фразовое ударение, интонация, порядок слов, особые вспомогательные слова, синтаксическая связь и т. д., и т. д.

Изменяемость по падежам является признаком существительных и прилагательных в русском языке*; однако в латинском и глагол может склоняться (ср. *gerundium*). Изменяемость по лицам в очень многих языках служит признаком глагола; однако есть языки, где и имена могут спрягаться, т. е. изменяться по лицам (см. А. Руднев, Хори-бурятский говор, вып. 1, стр. XXXVIII).

* Впрочем, едва ли мы потому считаем *стол*, *медведь* за существительные, что они склоняются: скорее мы потому их склоняем, что они существительные. Я полагаю, что все же функция слова в предложении является всякий раз наиболее решающим моментом для восприятия. Иначе обстоит дело, когда вопрос идет о генезисе той или иной категории, и не только в филогенетическом аспекте, но и в онтогенетическом: тут важна вся совокупность лингвистических данных — морфологических, синтаксических и семантических.

Отсюда следует, между прочим, что мнение, будто категория лица является исключительно глагольным признаком, основано на предрассудке.

Самая изменяемость глагола по лицам может быть выражена окончаниями, как в латинском: *am-o, am-as, am-at*, или особыми префиксами, как во французском: *j'aime, tu aimes, il aime* (ср. местоимения: *moi, toi, lui*), или в русском: *я любил, ты любил, он любил* (полный параллелизм этих форм с формами *praesentis*: *я люблю, ты любишь, он любит*, одинаковость синтаксических связей, отсутствие таких форм, как *любилый*, и т. д.— все это обуславливает восприятие всех этих форм, как форм одного и того же слова — глагола *любить*).

Член европейских языков является основным признаком существительного: нем. *handeln* — „действовать“, *das Handeln* — „действие“.

Во фразе *Когда вы приехали?* ударение на *когда* определяет его как наречие, а отсутствие ударения во фразе *Когда вы приехали, было еще светло* определяет его как союз.

По интонации отличаем мы „определение“ от „сказуемого“: *рана пустяковая* (в ответ на вопрос: Да что у него?), *рана — пустяковая*.

Во французском *les savants sourds* — „глухие ученые“ (*les sourds savants* — „ученые глухие“; пример взят из Vendryes „Le langage“) существительное от прилагательного отличается лишь порядком слов, как, впрочем, и в русском (только в русском порядок иной, чем во французском).

Повелительное наклонение 3-го лица в русском выражается особым словом *пусть*: *пусть придет* или *придут*.

Если я напишу: *она его... рукой*, то всякий расшифрует точки как глагол.

Признаки, выразители категорий, могут быть положительными и отрицательными: так, „неизменяемость“ слова, как противоположение „изменяемости“, также может быть выразителем категории, например наречия.

Противополагая форму, знак — содержанию, значению, я позволяю себе называть все эти внешние выразители категорий формальными признаками этих последних, ибо не вижу никакой пользы в выделении, среди прочих признаков, формальных морфем в особую группу.

4) Существование всякой грамматической категории обуславливается тесной, неразрывной связью ее смысла и всех ее формальных признаков. Не видя смысла, нельзя еще устанавливать формальных признаков, так как неизвестно, значат ли они что-либо, а следовательно, существуют ли они как таковые, и существует ли сама категория.

Андрей Павлович в своей статье „Между Сциллой и Харибдой“ (см. № 1 „Родного языка в школе“, 1923, стр. 12) дает следующие категории слов русского языка: 1) *золото, щипцы, пять*;

2) *стол, рыба*; 3) *сделан, вел, известен*; 4) *красный*; 5) *ходит*. Совершенно очевидно, что эти категории не имеют значения, а потому в языке и не существуют, хотя придуманы вполне добросовестно с логической точки зрения.

5) Категории могут иметь по несколько формальных признаков, из которых некоторые в отдельных случаях могут и отсутствовать. Категория существительных выражается своей специфической изменяемостью и своими синтаксическими связями. *Какаду* не склоняется, но сочетания *мой какаду, какаду моего брата, какаду сидит в клетке* достаточно характеризуют *какаду* как существительное. Больше того, если в языковой системе какая-либо категория нашла себе полное выражение, то уже один смысл заставляет нас подводить то или другое слово под данную категорию: если мы знаем, что *какаду* — название птицы, мы не ищем формальных признаков для того, чтобы узнать в этом слове существительное.

6) Яркость отдельных категорий не одинакова, что зависит, конечно, в первую голову от яркости и определенности, а отчасти и количества формальных признаков. Яркость же и формальной, и смысловой стороны категории зависит от соотносительности как формальных элементов, так и смысла, так как контрасты сосредоточивают на себе наше внимание: *белый, белизна, бело, белеть* очень хорошо выделяют категории прилагательного, существительного, наречия и глагола.

7) Раз формальные признаки не ограничиваются одними морфологическими, то становится ясным, что материально одно и то же слово может фигурировать в разных категориях: так, *кругом* может быть или наречием, или предлогом (см. ниже).

8) Если в вопросе о частях речи мы имеем дело не с классификацией слов, то может случиться, что одно и то же слово окажется одновременно подводимым под разные категории. Таковы причастия, где мы видим сосуществование категорий глагола и прилагательного; таковы знаменательные связки, где уживаются в одном слове и связка, и глагол (о чем см. ниже).

9) Поскольку опять-таки мы имеем дело не с классификацией, нечего опасаться, что некоторые слова никуда не подойдут — значит, они действительно не подводятся нами ни под какую категорию. Таковы, например, так называемые вводные слова, которые едва ли составляют какую-либо ясную категорию, между прочим, именно из-за отсутствия соотносительности. Разные усилительные слова вроде *даже, ведь, и* (= „даже“), слова отчасти союзного характера вроде *итак, значит* и т. п. тоже никуда не подводятся нами и остаются в стороне. Наконец, никуда не подводятся такие словечки, как *да, нет*.

10) Имея в виду главным образом живую русскую речь, я принципиально не чувствовал себя обязанным подбирать литера-

турные примеры. Но, конечно, мои примеры могут и должны быть критикуемы с точки зрения их приемлемости для говорящих на „литературном“ русском языке.

Перехожу теперь собственно к обозрению „частей речи“ в русском языке.

I. Прежде всего очень неясная и туманная категория междометий, значение которых сводится к „эмоциональности“ и „отсутствию познавательных элементов“, а формальный признак к полной синтаксической обособленности, отсутствию каких бы то ни было связей с предшествующими и последующими элементами в потоке речи. Примеры: *ай-ай!*, *ах!*, *ура!*, *боже мой!*, *беда!*, *черт возьми!*, *черт побери!*..'

Совершенно очевидно, что хотя этимология таких выражений, как *боже мой*, *черт побери*, и вполне ясна, но это только этимология; значение же этих выражений исключительно эмоциональное, и понимать *побери* в *черт побери* как глагол значило бы смешивать разные исторические планы, приписывать современному языку то, чего уже в нем нет. Однако во фразе *черт вас всех побери!* мы имеем уже дело не с междометием, так как от *побери* зависит *вас всех*, и, таким образом, формальный признак междометия отсутствует. То же и в известной пушкинской фразе *Татьяна — ах!*, если только *ах* не понимать как вносные слова. Для меня *ах* относится к Татьяне и является глаголом, а вовсе не междометием (см. ниже, отдел VIII).

Так как довольно многие слова употребляются или могут употребляться синтаксически обособленно, то категория междометий, будучи вполне отчетливой в ярких случаях, является в общем довольно расплывчатой. Например, будут ли междометиями *спасибо*, *наплевать* и т. д.?

Едва ли следует относить сюда обращения и считать звательный падеж (в русском лишь интонационная форма) междометной формой существительных, хотя некоторые основания к тому имеются. В известной мере родственными являются и формы повелительного наклонения, и особенно такие слова и словечки, как *молчать!*, *тишина!*, *цыц!*, *тсс!* и т. п. Само собой разумеется, что так называемые звукоподражательные *мяу-мяу*, *вау-вау* и т. п. нет никаких оснований относить к междометиям.

II. Далее следует отметить две соотносительные категории: категорию слов знаменательных и категорию слов служебных. Различия между этими категориями сводятся к следующим пунктам: 1) первые имеют самостоятельное значение, вторые лишь выражают отношение между предметами мысли; 2) первые сами по себе способны распространять данное слово или сочетание слов: *я хожу — я хожу кругом*; *я пишу — я пишу книгу — я пишу большую книгу*; вторые сами по себе неспособны распространять слова: *на*, *при*, *в*, *и*, *чтобы*, *быть*, *стать* (в смысле связок),

кругом (я хожу кругом дома); 3) первые могут носить на себе фразовое ударение; вторые никогда его не имеют, кроме случая выделения слов по контрасту (*он не только был вкусный, но и будет вкусный*), что является особым случаем, так как по контрасту могут выделяться и неударяемые морфемы (части) слов. Второе и третье различия следует считать формальными признаками этих категорий. Отнюдь не следует считать признаком служебных слов их неизменяемость, так как некоторые служебные слова изменяются, как например связки (спрягаются), относительные *которые, какой* (склоняются и изменяются по родам).

С категорией слов знаменательных контаминируются более частные категории: существительных, прилагательных, наречий, глаголов и т. д.

III. Перехожу к существительным. Значение этой категории известно — предметность, субстанциальность. При ее посредстве мы можем любые лексические значения, и действия, и состояния, и качества, не говоря уже о предметах, представлять как предметы: *действие, лежание, доброта* и т. д. Формальными признаками этой категории являются: изменяемость по падежам (которая в отдельных случаях может отсутствовать: *какаду, пальто*) и соответственные системы окончаний; ряд словообразовательных суффиксов имен существительных, как-то: *-тель, -льщик, -ник, -от-(-а), -изн-(-а), -ость, -(о)к, -(е)к* и т. д., и т. д.; определение посредством прилагательных; согласование относящегося к данному слову прилагательного (*красивый какаду; а меня, бедного, и забыли; нечто серое и туманное скользнуло мимо*); отсутствие согласования с существительным, явным или непосредственно подразумеваемым; глагол или связка в личной форме, относящиеся к данному слову (*я ехал в лодке; люди были несчастны; кто пришел?*). Из сказанного явствует, что в выражениях *этот нищий, все доброе нищий* и *доброе* будут существительными. С другой стороны, явствует и то, что целый ряд так называемых „местоимений“ приходится считать существительными: *я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, себя, кто? что? некто, нечто, кто-то, что-то, никто, ничто*; кроме того, *это* (редко *то*) и *всё*, употребляющиеся в качестве существительных в форме среднего рода; *всякий* и *каждый*, употребляющиеся в качестве существительных лишь в форме мужского рода; *все*, употребляющееся в качестве существительного во множ. числе*. Примеры: *я этого не переносу; это уже надоело; я предлагал ему и то, и это; мой брат всегда всем очень доволен; я знаю всё; всякий это знает; я берусь каждого провести; все убежали*. Но надо сказать, что последние пять слов имеют скорее прила-

* Сам лишь с комическими целями употребляется в смысле существительного в выражениях вроде *сам пришел* (заимствовано из просторечья); *всяк* является более или менее фамильярным архаизмом.

гательную природу и не терпят никакого прилагательного определения, так что во фразе *я люблю всё хорошее* слово *всё* является уже прилагательным, а *хорошее* существительным. Любопытно отметить, что даже в таких сочетаниях, как *на сцене появилось нечто воздушное, ничем хорошим не могу вас порадовать*, можно спрашивать себя, что к чему относится: *нечто* к *воздушное*, *хорошим* к *ничем* или наоборот.

Все перечисленные слова составляют, конечно, по содержанию обозначаемых ими понятий особую группу местоименных существительных, так как содержание это крайне бедно и состоит в каждом случае из одного очень неопределенного признака. Формально они объединяются невозможностью их определить предшествующим прилагательным; нельзя сказать: *добрый я, славный некто* и т. п. Что касается форм склонения, то они не являются одинаковыми у всех слов группы, и потому невыразительны. Прежнее состояние языка с ясным местоименным склонением, выражавшим противоположение группы местоимений группе имен (существительных и прилагательных), давно разрушено.

Выделяется в известной мере группа „личных местоимений“ своей функцией личных префиксов (правда, не вполне сросшихся) в спряжении глаголов; однако и там местоимение 3-го лица (бывшее указательное) склоняется иначе, чем местоимения 1-го и 2-го лица.

Вообще надо признать, что в этой области в русском языке в настоящее время не наблюдается никакой ясной, отчетливой системы: старая группа местоимений распалась, а новых отчетливых противоположений местоименных прилагательных и существительных, наподобие того, что имеется во французском (*ce, cette, ces, celui, celle, ceux, celles*), не выработалось. Это в общем и не удивительно. Словечки местоименного характера немногочисленны, но играют значительную роль в структуре языка, и всякие пережитки сохраняются здесь чаще всего, успешно сопротивляясь логическим унификационным стремлениям коллективного языкового творчества.

Кроме местоименных существительных, мы имеем в русском целый ряд категорий*, обладающих большей или меньшей выразительностью.

1) Имена собственные и нарицательные: первые, как правило, не употребляются во множественном числе. *Ивановы, Крестовские* и т. д. являются названиями родов и представляют из себя своего рода *pluralia tantum*.

2) Имена отвлеченные и конкретные: первые опять-таки нормально не употребляются во множественном числе. *Радости жизни* представляются нам чем-то конкретным и не идентичным словам *радость, тоска, грусть, ученье, терпенье* и т. п.

* Я не буду ничего говорить о категории грамматического рода, так как ничего не прибавлю к общеизвестному.

3) Имена одушевленные и неодушевленные: у первых форма винительного падежа множ. числа сходна с родительным падежом, а у вторых — с именительным.

4) Имена вещественные тоже не употребляются во множ. числе: *мед, сахар*. А поскольку употребляются, обозначают тогда разные сорта: *вина, масла* и т. п.

5) Имена собирательные (конечно, не *стая, полк, класс*, так как их собирательность никак не выражена). Наше современное понимание их исключительно объединяющее и индивидуализирующее. По-видимому, в старом языке было иначе, так как сказуемое при этих словах часто ставилось во множественном числе (см. материал по вопросу из Синод. списка I Новгород. лет. у Е. С. Истриной, Синтаксические явления..., 1923, стр. 60 и сл.).

Зато в современном русском имеется несомненная возможность образовывать имена собирательные посредством суффиксов *-j-* или *-(е)ств-* в среднем роде: *солдаты, мужичья, тряпья, офицеры, профессорья; офицерство, студенчество*.

6) Далее, в русском имеется категория имен единичных: *бисер | бисерина, жемчуг | жемчужина, солома | соломина*, образуемых посредством суффикса *-ин-* в женском роде. Любопытно, что благодаря этому и все основные слова, от которых могут быть образованы единичные слова на *-ин-*, составляют своеобразную группу, категорию.

О категориях имен существительных см. у Шахматова в его „Очерке современного русского литературного языка“ (литогр. курс лекций 1911/12 уч. г., ныне напечатанный).

IV. Значение категории прилагательных в русском языке — конечно, качество, как это прекрасно показано Пешковским в его „Русском синтаксисе“², 1920, стр. 54 и сл. Формально она выражается прежде всего своим отношением к существительному: без существительного, явного или подразумеваемого, нет прилагательного. Далее, она выражается формами согласования с существительным, хотя это и не абсолютно обязательно, своеобразной изменяемостью, куда, между прочим, входит и изменение по степеням сравнения (тоже необязательное и общее с наречиями); рядом словообразовательных суффиксов, как-то: *-(е)н-, -ист-, -ан-, -оват-* и т. д.; наконец, она выражается и определяющим ее наречием.

Из всего этого вытекает, что под категорию прилагательных мы подводим и такие „местоимения“, как *мой, твой, наш, ваш, свой, этот, тот, такой, какой, который, всякий, сам, самый, весь, каждый* и т. п., и „все порядковые числительные“ (*первый, второй* и т. д.), и все причастия, и, наконец, формы сравнительной степени прилагательных в тех случаях, когда они относятся к существительным, например: *ваш рисунок лучше моего; эта местность красивее всего виденного мною; струя светлей лазури* (из лермонтовского „Паруса“). Относительно первых трех групп слов не может быть сомнения, что они подводятся нами

под категорию прилагательных. Относительно же сравнительной степени достаточно указать на то, что от наречия сравнительная степень прилагательных отличается своей относимостью к существительному, а от существительных, которые также могут относиться к существительному, своей связью с положительной и превосходной степенями*.

Среди прилагательных выделяется группа прилагательных *прижательных*, имеющая формальные признаки — именные окончания по крайней мере во всех формах именительного падежа:

пап-ин-	дом	пап-ин-а	дочь
отц-ов-	”	отц-ов-а	”
мой-	”	мо-я (мой-а)	”
наш-	”	наш-а	”
баб-ий	”	бабь-я (бабь-й-а)	”
пап-ин-о	наследие	пап-ин-ы	дети
отц-ов-о	”	отц-ов-ы	”
мо-ѣ (мой-о)	”	мо-и	”
наш-е	”	наш-и	”
бабь-е (бабь-й-э)	”	бабь-и (бабь-й-и)	”

Но, по-видимому, эта категория разрушается, так как в детском языке постоянно находим *пап-ин-ая дочка*; вместо *отцов дом* мы чаще скажем *отцовский дом*, а вместо *бабье лето* можно иногда слышать и *бабее лето*; такие же случаи, как с *волчей шкурой*, приходится считать если не нормальными, то очень распространенными, особенно среди младшего поколения.

Что касается местоименной группы, то хотя она по значению и представляет из себя некую группу, но она не безусловно замкнута: считать ли, например, относящимся к ней слово *любой*? Пешковский в часто цитированной уже книге (стр. 406) относит сюда же слова *известный, данный, определенный*. Отсутствие ясного формального критерия не позволяет быть отчетливо осознанной группе местоименных прилагательных, так как то обстоятельство, что в цепи прилагательных определений существительного они нормально ставятся на первом месте (*любой (всякий) порядочный вдумчивый доктор*), не чересчур навязывается нашему сознанию.

То же можно сказать и о порядковых числительных, хотя и им усваивается первое место в цепи прилагательных определений (*я кончил вторую киевскую мужскую гимназию*). Однако надо признать, что крепкая ассоциативная связь по смежности (при счете) энергично поддерживает смысловую связь, и понятие „порядковости“, „номерности“ выступает довольно ярко, так что,

* Что прилагательные могут быть неизменяемыми и считаться все же прилагательными даже в тех языках, где прилагательные изменяются, между прочим, показывает старославянский язык: *испальнь, прьврость* и др., хотя и не склоняются, однако являются прилагательными.

пожалуй, все же приходится говорить о прилагательных порядковых.

Очень живыми представляются категории прилагательных качественных, имеющих степени сравнения, и относительных, их не имеющих. Так, *золотой* может принадлежать к тем и другим: *золотое кольцо | уж на что у тебя золотые кудри, а вот у нее еще золотее.*

Причастия, конечно, составляют резко обособленную группу, будучи подводимы и под категорию глаголов. Теряя глагольность, они становятся простыми прилагательными. *Ученое стихотворение* может быть употреблено в двойном смысле: 1) „содержащее в себе много научного“ — прилагательное и 2) „которое уже учили“ — причастие.

V. Категория наречий является исключительно формальной категорией, ибо значение ее совпадает со значением категории прилагательных, как это очевидно из сравнения таких пар, как *легкий | легко, бодрый | бодро* и т. д. Мы бы вероятно создавали подобные наречия формой соответственных прилагательных, если бы в той же функции не употреблялось большого количества неизменяемых слов, не являющихся производными от прилагательных: *очень, слишком, наизусть, сразу, кругом* и т. д. Благодаря этому формальными признаками категории являются прежде всего отношение к прилагательному, к глаголу или к другим наречиям, невозможность определить прилагательным (если только это не наречное выражение), неизменяемость (однако наречия, производные от прилагательных, могут иметь степени сравнения)* и, наконец, для наречий, произведенных от прилагательных, окончания *-о* или *-е*, а для глагольных наречий (деепричастий) особые окончания.

Самый деликатный вопрос — отличие наречий от существительных, так как критерий неизменяемости возникает чаще всего на почве разрыва связи данного слова с формами соответственного существительного, т. е. в конце концов на почве значения: мыслится ли в данном случае предмет (существительное) или нет. Весьма вероятно, что если бы у нас не было прилагательных наречий и целого ряда случаев, где связь с существительным абсолютно порвана, т. е. если бы категория наречий не имела бы своих и по форме несомненных представителей, то установление категории наречия на таких случаях, как *за границей, за границу*, представило бы большие затруднения. Впрочем, здесь на помощь может прийти и эксперимент**; стоит попробовать придать прилагательное: *за нашей границей, за южную границу*, чтобы

* Вообще мнение, будто наречия по существу являются неизменяемыми, совершенно неосновательно: французское наречие *tout* согласуется в роде с прилагательным, к которому относится.

** Я настаиваю на этом слове, придавая ему большое теоретическое значение: исследуя статическую сторону языка, мы не только наблюдаем факты, но и постоянно экспериментируем. В этом преимущество живых языков, как научного материала, над мертвыми. В этих последних мы имеем лишь

понять, что это невозможно без изменения смысла слов и что, следовательно, *заграницей, за границу* являются наречиями, а не существительными*.

Что касается деепричастий, то они, конечно, составляют резко обособленную группу. В сущности это настоящие глагольные формы, в своей функции лишь отчасти сближающиеся с наречиями. Формально они объединяются с этими последними относимостью к глаголу и якобы отсутствием согласования с ним (на самом деле они должны в русском языке иметь общее лицо, хотя внешне это ничем и не выражается). Что особенно оправдывает это усмотрение в деепричастиях некоторой наречности — это их легкий переход в подлинные наречия: *молча, стоя, лежа* и т. д. могут быть то деепричастиями, то наречиями.

VI. Особой категорией приходится признать слова количественные. Значением является отвлеченная идея числа, а формальным признаком своеобразный тип сочетания с существительным, к которому относится слово, выражающее количество. Благодаря этим типам сочетаний категория слов количественных изъимается из категории прилагательных, куда она естественнее всего могла бы относиться, а также и из категории существительных, с которыми она сходна формами склонения. Эти типы сочетаний состоят в том, что в именительном и винительном падежах определяемое ставится в родительном падеже множ. числа (при *два, три, четыре* — в род. пад. ед. ч.), а в косвенных падежах ожидаемое согласование в падеже восстанавливается: *пять книг — с пятью книгами, двадцать солдат — при двадцати солдатах***.

Исторические причины таких странных конструкций известны; сейчас эти конструкции бессмысленны и являются пережитками, однако утилизируются языком для обозначения особой категории, которую конечно, лишь насилуя непосредственное языковое чутье, можно смешивать с существительными. Различие

большой или меньший, но законченный ряд наблюдений; в живых мы постоянно можем и должны производить и эксперименты. Поэтому исследование мертвых языков легче, так как ограничено данными текстами; живых — бесконечно труднее, так как его почти что невозможно исчерпать, и может быть плодотворнее, давая возможность так углубить изучение, как это по существу невозможно сделать для мертвых. Оговариваюсь, что все сказанное относится к научной работе над языком. С педагогической же стороны изучение мертвых языков может быть, и обыкновенно бывает, и труднее, и полезнее, так как требует сознательности; изучение же живых языков может протекать, особенно при натуральном методе, бессознательно и быть тогда с образовательной точки зрения абсолютно бесполезным.

* В. В. Виноградов в одном из своих докладов в Лингвистическом обществе в Ленинграде очень убедительно наметил ряд дальнейших категорий внутри этой в общем малосодержательной категории. Надеюсь, что этот доклад появится в одном из дальнейших выпусков „Русской речи“.

** К этой же категории относятся и слова *много, немного, мало, сколько, несколько*, которые по недоразумению считаются наречиями: *я вижу несколько моих учеников | я ехал с несколькими учениками; в классе много детей | трудно заниматься со многими детьми* и т. д.

выступает очень ярко из сравнения: *десять яблок, с десятью яблоками* | *десяток яблок, с десятком яблок*; *сто солдат, со ста солдатами* | *сотня солдат, с сотней солдат*.

Любопытно отметить, что *тысяча* с обывательской точки зрения плохо представляется как число, а скорей как некоторое единство, как „существительное“, что и выражается типом связи: *тысяча солдат* | *с тысячею солдат*. Однако ход культуры и развитие отвлеченного мышления дают себя знать: *тысяча* все больше и больше превращается в количественное слово, и *тысяче солдатам был роздан паек* не звучит чересчур неправильно (*миллиону солдатам* сказать было бы невозможно), а сказать *приехала тысяча солдат*, пожалуй, и вовсе смешно. Несомненно, что при пережитом падении денег и *миллион* и *миллиард* стали отвлеченнее, хотя, может, в языке это и не успело сказаться.

VII. Есть ряд слов, как *нельзя, можно, надо, пора, жаль* и т. п., подведение которых под какую-либо категорию затруднительно. Чаще всего их, по формальному признаку неизменяемости, зачисляют в наречия, что в конце концов не вызывает практических неудобств в словарном отношении, если оговорить, что они употребляются со связкой и функционируют как сказуемое безличных предложений. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что указанные слова не подпадают под категорию наречий, так как не относятся ни к глаголу, ни к прилагательному, ни к другому наречию.

Далее, оказывается, что они составляют одну группу с такими формами, как *холодно, светло, весело* и т. д. во фразах: *на дворе становилось холодно; в комнате было светло; нам было очень весело* и т. п. Подобные слова тоже не могут считаться наречиями, так как эти последние относятся к глаголам (или прилагательным), здесь же мы имеем дело со связками (см. ниже). Под форму среднего рода ед. числа прилагательных они тоже не подходят, так как прилагательные относятся к существительным, а здесь этих последних нет, ни явных, ни подразумеваемых.

Может быть, мы имеем здесь дело с особой категорией состояния (в вышеприведенных примерах никому и ничему не приписываемого — безличная форма) в отличие от такого же состояния, но представляемого как действие: *нельзя* (в одном из значений) | *запрещается*; *можно* (в одном из значений) | *позволяется*; *становится холодно* | *холодает*; *становится темно* | *темнеет*; *морозно* | *морозит* и т. д. (таких параллелей, однако, не так много).

Формальными признаками этой категории были бы неизменяемость, с одной стороны, и употребление со связкой — с другой: первым она отличалась бы от прилагательных и глаголов, а вторым — от наречий. Однако мне самому не кажется, чтобы это была яркая и убедительная категория в русском языке.

Впрочем, и при личной конструкции можно указать ряд слов, которые подошли бы сюда же: *я готов; я должен; я рад* | *ра-*

дуюсь; я способен („я в состоянии“) | могу; я болен | болею; я намерен | намереваюсь; я дружен | дружу; я знаком | знаю (радный* не употребляется, а готовый, должный, способный, большой, намеренный, дружный, знакомый употребляются в другом смысле).

В конце концов правильны будут и следующие противоположения:

я весел (состояние) | я веселюсь (состояние в виде действия)**
| я веселый (качество);

он шумен (состояние) | он шумит (действие) | он шумливый (качество);

он сердит (состояние) | он сердится (состояние в виде действия) | он сердитый (качество);

он грустен (состояние) | он грустит (состояние в виде действия) | он грустный (качество)

и без параллельных глаголов:

он печален | он — печальный;

он доволен | он — довольный;

он красен как рак | флаги — красные;

палка велика для меня | палка — большая;

сапоги малы мне | эти сапоги — слишком маленькие;

мой брат очень бодр | мой брат — всегда бодрый и т. д.

То же по смыслу противоположение можно найти и в следующих примерах:

я был солдатом (состояние: „j'ai été soldat“) | я солдатствовал (состояние в виде действия) | я был солдат (существительное: „j'ai été un soldat“);

я был трусом в этой сцене | я трусил | я большой трус;
я был зачинщиком в этом деле | я был всегда и везде зачинщик***.

Наконец, под категорию состояния следует подвести такие слова и выражения, как *быть навеселе, наготове, настороже, замужем, в состоянии, начеку, без памяти, без чувств, в сюртуке* и т. п., и т. п. Во всех этих случаях *быть* является связкой, а не существительным глаголом; поэтому слова *навеселе, наготове* и т. д. едва ли могут считаться наречиями. Они все тоже выражают состояние, но благодаря отсутствию параллельных форм, которые бы выражали действие или качество (впрочем, *замужем | замужняя; в состоянии | могу*), эта идея не достаточно подчеркнута.

* На некоторые слова этой категории указал мне Д. В. Бубрих.

** Пример: По лицу его видно, что он веселится, глядя на нас; но в Он сегодня резвится и веселится, как школьник оттенок будет другой.

*** Надо, впрочем, признать, что этот оттенок не всегда бывает вполне отчетлив.

Хотя все эти параллели едва ли укрепили мою новую категорию, так как слишком разнообразны средства ее выражения, однако несомненными для меня являются попытки русского языка иметь особую категорию состояния, которая и вырабатывается на разных путях, но не получила еще, а может и никогда не получит, общей марки. Сейчас формально категорию состояния пришлось бы определять так: это слова в соединении со связкой, не являющиеся, однако, ни полными прилагательными, ни именительным падежом существительного; они выражаются или неизменяемой формой, или формой существительного с предлогом, или формами с родовыми окончаниями: *нуль* для муж. рода, *-а* для женск. рода, *-о, -э, (искренне)* для среднего рода, или формой творительного падежа существительных (теряющей тогда свое нормальное, т. е. инструментальное, значение).

Если не признавать наличия в русском языке категории состояния (которую за неимением лучшего термина можно называть предикативным наречием, следуя в этом случае за Овсяннико-Куликовским), то такие слова, как *пора, холодно, навеселе* и т. п., все же нельзя считать наречиями, и они просто остаются вне категорий (ср. стр. 66).

VIII. В категории глаголов основным значением, конечно, является только действие, а вовсе не состояние, как говорилось в старых грамматиках. Эта проблема, по-видимому, возникла из понимания „частей речи“ как рубрик классификации лексических значений. После всего сказанного вначале ясно, что дело идет не о значении слов, входящих в данную категорию, а о значении категории, под которую подводятся те или иные слова. В данном случае очевидно, что когда мы говорим *больной лежит на кровати* или *ягодка краснеет в траве*, мы это лежание и краснение представляем не как состояния, а как действия.

Формальных признаков много. Во-первых, изменяемость и не только по лицам и числам, но и по временам, наклонениям, видам и другим глагольным категориям*. Между прочим, попытка некоторых русских грамматистов последнего времени представить инфинитив как особую от глагола „часть речи“, конечно, абсолютно неудачна, противоречива естественному языковому чутью, для которого *идти* и *иду* являются формами одного и того же слова**.

* Признание категории лица наиболее характерной для глаголов (отсюда определение глаголов как „слов спрягаемых“), в общем верно и психологически понятно, так как выводится из значения глагольной категории: „действие“, по нашим привычным представлениям, должно иметь своего субъекта. Однако факты показывают, что это не всегда бывает так: *моросит, смеркается* и т. п. не имеют формы лица, однако являются глаголами, так как дело решается не одним каким-либо признаком, а всей совокупностью морфологических, синтаксических и семантических данных.

** Под „формами слова“ в языковедении обыкновенно понимают материально разные слова, обозначающие или разные оттенки одного и того же понятия, или одно и то же понятие в разных его функциях. Поэтому, как известно, даже такие слова, как *fero, tuli, latum*, считаются формами одного слова.

Эта странная aberrация научного мышления произошла из того же понимания „частей речи“, как результатов классификации, которое свойственно было старой грамматике, с переменной лишь *principium divisionis*, и возможна была лишь потому, что люди на минуту забыли, что форма и значение неразрывно связаны друг с другом: нельзя говорить о знаке, не констатируя, что он что-то значит; нет больше языка, как только мы отрываем форму от ее значения (см. по этому поводу совершенно правильные разъяснения Н. Н. Дурново в его статье „В защиту логичности формальной грамматики“, в журнале „Родной язык в школе“, книга 2-я, 1923, стр. 38 и сл.). Но нужно признать, что aberrация эта выросла на здоровой почве протеста против бесконечных рубрификаций старой грамматики, не основанных ни на каких объективных данных. В основе ее лежит, таким образом, правильный и здоровый принцип: нет категорий, не имеющих формального выражения*.

Итак, изменяемость по разным глагольным категориям с соответственными окончаниями является первым признаком глагола, точно так же как и некоторые суффиксы, например *-ов-* || *-у-*, *-ну-* и др., в общем, впрочем, невыразительные; далее, именит. падеж, непосредственно относящийся к личной форме, тоже опре-

С другой стороны, такие слова, как *писать* и *писатель*, не являются формами одного слова, так как одно обозначает действие, а другое — человека, обладающего определенными признаками. Даже такие слова, как *худой*, *худоба*, не считаются нами за одно и то же слово. Зато такие слова, как *худой* и *худо*, мы очень склонны считать формами одного слова, и только одинаковость функций слова типа *худо* со словами вроде *вкось*, *наизусть* и т. д. и отсутствие параллельных этим последним прилагательных создают особую категорию наречий и до некоторой степени отделяют *худо* от *худой*. Конечно, как и всегда в языке, есть случаи неясные, колеблющиеся. Так, будет ли *столик* формой слова *стол*? Это не так уж ясно, хотя в языковедении обыкновенно говорят об уменьшительных формах существительных. *Предобрый*, конечно, будет формой слова *добрый*, *сделать* будет формой слова *делать*, но *добежать* едва ли будет формой слова *бежать*, так как самое действие представляется как будто различным в этих случаях. Ср. *Abweichungsnamen* и *Übereinstimmungsnamen* у O. Dittrich „Die Probleme der Sprachpsychologie“, 1913.

В истории языков наблюдаются тоже передвижения в системах форм одного слова. Так, образования на *-л-*, бывшие когда-то именами лица действующего, вошли в систему форм славянского глагола, сделались причастиями, а теперь функционируют как формы прошедшего времени в системе глагола (*захудал*); эти же причастия в полной форме снова оторвались от системы глагола и стали прилагательными (*захудалый*). Процесс втягивания отглагольного имени существительного в систему глагола, происходящий на наших глазах, нарисован у меня в книге „Восточнолужицкое наречие“, 1915, стр. 137.

* Слово *формальный* я понимаю здесь в том широком смысле, какой был придан ему на стр. 65, и в этом же смысле я готов объявить себя „формалистом“, хотя, по совести, совершенно не вижу надобности говорить об особой „формальной школе в грамматике“: современное научное языкознание в общем едино и противопоставляется старой грамматической традиции. Конечно, существуют отдельные увлечения, некоторые разномыслия по отдельным вопросам, неизбежные при поступательном движении науки; но я не вижу ничего, что могло бы расколоть передовых думающих лингвистов на два лагеря: есть вопросы не решенные, по поводу которых высказываются разные гипотезы; есть вопросы, которые допускают разные точки зрения, но нет вопросов, решаемых в разных „школах“ по-разному.

деляет глагол; далее, невозможность прилагательного и возможность наречного распространения; наконец, характерное управление, например: *любить отца*, но *любовь к отцу*.

Теперь понятно, почему инфинитив, причастие, деепричастие и личные формы признаются нами формами одного слова — глагола: потому что *сильно* (не *сильный*) *любить*, *любящий*, *любя*, *люблю дочку* (не *к дочке*) и потому что, хотя каждая из этих форм и имеет свое значение, однако все они имеют общее значение действия. Из них *любящий* подводится одновременно и под категорию глаголов и под категорию прилагательных, имея с последним и общие формы и значение, благодаря которому действие здесь понимается и как качество; такие формы условно называются причастием. По тем же причинам *любя* подводится под категорию глаголов и отчасти под категорию наречий, и условно называется деепричастием. *Любовь* же, обозначая действие, однако, не подводится нами под категорию глаголов, так как не имеет их признаков (*любовь к дочке*, а не *дочку*); поэтому идея действия в этом слове заглушена, а рельефно выступает лишь идея субстанции.

Ввиду всего этого нет никаких оснований во фразе *а она трах его по физиономии!* отказывать *трах* в глагольности: это не что иное, как особая, очень эмоциональная форма глагола *трахнуть* с отрицательной (нулевой) суффиксальной морфемой. То же и в выражении *Татьяна — ах!* и других подобных, если только не видеть в *ах* вносных слов.

Наконец, из сказанного выше о глаголах вообще явствует и то, что связка *быть* не глагол, хотя и имеет глагольные формы, и это потому, что она не имеет значения действия. И действительно, единственная функция связки — выражать логические (в подлинном смысле слова) отношения между подлежащим и сказуемым: во фразе *Мой отец был солдат* в *был* нельзя открыть никаких элементов действия, никаких элементов воли субъекта. Другое дело, когда *быть* является существительным глаголом: *Мой отец был вчера в театре*. Тут *был* = *находился*, *сидел* — одним словом, проявлял как-то свое „я“ тем, что был. Это следует твердо помнить и не считать связку за глагол и функцию связки за глагольную. В так называемых знаменательных связках мы наблюдаем контаминацию двух функций — связки и большей или меньшей глагольности (наподобие контаминации двух функций у причастий). Осознание и разграничение этих функций очень важно для понимания синтаксических отношений*.

* Я предполагаю развить мои взгляды на этот предмет в особой статье, но некоторый намек в этом направлении позволю себе сделать сейчас. Если связка не глагол, то можно сказать, что все языки, имеющие связку, имеют два типа фразы: глагольный, по существу одночленный (*люблю; amo; j'aime*), где субъект не противопоставляется действию, и связочный, по существу двучленный, где субъект противопоставляется другому имени (*я — солдат; sum — miles; je suis — soldat*).

IX. Нужно отметить еще одну категорию слов знаменательных, хотя она никогда не бывает самостоятельной, — это слова вопросительные: *кто, что, какой, чей, который, куда, как, где, откуда, когда, зачем, почему, сколько* и т. д. Формальным ее выразителем является специфическая интонация синтагмы (группы слов), в состав которой входит вопросительное слово.

Категория слов вопросительных всегда контаминируется в русском языке либо с существительными, либо с прилагательными, либо со словами количественными, либо с наречиями.

Переходя к служебным словам, приходится прежде всего отметить, что общие категории здесь не всегда ясны и во всяком случае зачастую мало содержательны.

X. Связки. Строго говоря, существует только одна связка *быть*, выражающая логическое отношение между подлежащим и сказуемым. Все остальные связки являются более или менее знаменательными, т. е. представляют из себя контаминацию глагола и связки, где глагольность может быть более или менее ярко выражена (см. выше).

Я ничего не прибавлю к общеизвестному о связках, кроме разве того, что у нас как будто нарождается еще одна форма связки — *это*. Примеры: *наши дети — это наше будущее, наши дети — это будут дельные ребята*. Частица *это* больше всего и выражает отношение подлежащего и сказуемого, и во всяком случае едва ли понимается нами как подлежащее: формы связки *быть* служат в данном случае главным образом для выражения времени.

XI. Далее, мы имеем группу частиц, соединяющих два слова или две группы слов в одну синтагму (простейшее синтаксическое целое) и выражающих отношение „определяющего“ к „определяемому“. Они называются предлогами, формальным признаком которых в русском языке является управление падежом. Сюда, конечно, подходят и такие слова, как *согласно* (*согласно вашему предписанию, а в канцелярском стиле вашего предписания*), *кругом, внутри, наверху, наподобие, во время, в течение, вследствие, тому назад* (с винит. пад.) и т. п. Однако по функциональному признаку сюда подошли бы и такие слова, как *чтобы, с целью, как*, например в следующих фразах: *Я пришел* чтобы поесть = с целью поесть; Меня одевали* как куколку = наподобие куколки*.

XII. Далее, можно констатировать группу частиц, соединяющих слова или группы слов в одно целое — синтагму или синтаксическое целое высшего порядка — на равных правах, а не на принципе „определяющего“ и „определяемого“ и называемых обыкновенно союзами сочинительными.

* Читать без запятой.

В ней можно констатировать две подгруппы:

а) Частицы, соединяющие вполне два слова или две группы слов в одно целое — союзы соединительные: *и, да, или** (не повторяющиеся). Примеры: *брат и сестра пошли гулять; отец и мать остались дома; я хочу взять учителя или учительницу к своим детям; Иван да Марья; когда все собрались и хозяева зажгли огонь, стало веселее***.

В той же функции употребляются иногда и предлоги: *брат с сестрой пошли гулять* (особая функция частицы *с* отмечена здесь формой множ. числа глагола).

Примечание. Особый случай употребления этих союзов можно наблюдать там, где при их посредстве присоединяется последний член перечисления. Хотя этот член и не составляет тогда целого с предшествующим, однако союз, вместе с особой интонацией, отличной от той, о которой будет идти речь ниже, в разделе XIV, обозначает исчерпанность ряда, его единство. Примеры: *Однажды лебедь, рак да щука . . .; Отец, мать, брат и сестра отправились гулять.*

б) Частицы, объединяющие два слова или две группы по контрасту, т. е. противопоставляя их, — союзы противительные: *а, но, да*. Благодаря этому противопоставлению каждый член такой пары сохраняет свою самостоятельность, и этот случай „б)“ не только по смыслу, но и по форме отличается от случаев „а)“. Примеры: *я хочу не большой, а маленький платок; она запела маленьким, но чистым голоском; мал золотник, да дорог; я вам кричал, а вы не слышали; вы обещали, но это не всегда значит, что вы сделаете.*

XIII. Те же союзы могут употребляться и в другой функции: тогда они не соединяют те или другие элементы в одно целое, а лишь присоединяют их к предшествующему. Тогда как в случае раздела XII оба члена присутствуют в сознании, хотя бы в смутном виде, уже при самом начале высказывания, в настоящем случае второй элемент появляется в сознании лишь после первого или во время его высказывания. Формально выражается указанное различие функций фразовым ударением, иногда паузой и вообще интонацией (точных исследований на этот счет не имеется). Ясными примерами этого различия может послужить разное толкование следующих двух стихов Пушкина и Лермонтова: 1) как надо читать стих 14 стихотворения Пушкина „Воспоминание“ —

Я трепещу и проклиная . . .

или

Я трепещу, и проклиная . . . ?

* Или собственно считается разделительным союзом, но это едва ли выражается формально (не смешивать *или* = более или менее „то есть“).

** Почти каждый из примеров может быть прочтен и с запятой перед союзом — тогда они попадут в группу союзов присоединительных (см. ниже, раздел XIII).

Я стою за первое (см. „Русская речь“, I, стр. 31*); 2) как надо читать стих 6 стихотворения Лермонтова „Парус“:

И мачта гнется и скрипит...

или

И мачта гнется, и скрипит...?

Я стою за второе.

Прав я или нет в моем понимании, в данном случае безразлично, но возможность самого вопроса, а следовательно, и двоякая функция союза *и*, думается, очевидны**.

Союзы в этой функции можно бы назвать присоединительными. Другие примеры: *я сел в кибитку с Савельичем, и отправился в дорогу* (пример заимствован у Грота, но запятая принадлежит мне); *вчера мы собрались большой компанией и отправились в театр, но проскучали весь вечер; на ель ворона взгромоздясь, позавтракать — было совсем уж собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала; я приду очень скоро, или совсем не приду; дело будет тянуться без конца, или сразу оборвется.*

Примечание 1. Можно спрашивать себя, есть ли основание для установления двух категорий (XII и XIII), когда дело идет об одних и тех же словах. Но если вспомнить, что задачей исследования является не классификация слов, а подмечание тех общих категорий, под которые говорящие подводят те или другие слова, то разделение не покажется чересчур искусственным. Но несомненно и то, что указанные категории не так очевидны, как, например, категории существительных, прилагательных и т. п. Самая граница между ними текуча.

Примечание 2. Опытный читатель мог заметить, что моя категория союзов присоединительных несколько напоминает категорию союзов сочинительных после разделительной паузы у Пешковского („Русский синтаксис“, стр. 453), но демаркационная линия не та (о таких словах, как *итак*, *значит* и т. п., см. выше, стр. 66). Кто из нас ближе подошел к живым языковым связям, судить не мне.

XIV. Особую группу составляют частицы, „уединяющие“ слова или группы слов и образующие из них „бесконечные“ ряды однородных целых. Формальным выражением этой категории является, во-первых, повторяемость частиц, а во-вторых, специфическая интонация. Они организуют то, что я называю „открытыми сочетаниями“ (см. „Русская речь“, I, стр. 22***). Сюда относятся *и — и... , ни — ни... , да — да... , или — или...* и т. п. Их можно бы для краткости назвать союзами слитными. Примеры известны: *и пращ, и стрела, и лукавый кинжал щадят победителя годы; меня ничто не веселило — ни новые игрушки, ни сказки бабушки, ни только что родившиеся котята.*

* [См. стр. 33 настоящей книги. — Ред.]

** Такое же разное толкование может получить и пример Пешковского („Русский синтаксис“, стр. 325): *Червонец был запачкан и в пыли* или *Червонец был запачкан, и в пыли.*

*** [См. стр. 29 настоящей книги. — Ред.]

Примечание. Указанные слова имеют, конечно, некоторое сходство с частицами XIII раздела, состоящее в находящейся перед ними паузе, которая и обуславливает общность их уединяющего значения. Однако специфическое значение слитных союзов в связи с их очевидными формальными признаками делает их ясно обособленными.

XV. Совершенно особую группу составляют частицы, выражающие отношение „определяющего“ к „определяемому“* между двумя синтагмами и объединяющие их в одно синтаксическое целое высшего порядка (в разделе XI дело происходило внутри одной синтагмы). Частицы эти удобнее всего назвать относительными словами. Сюда подойдет и то, что традиционно называют союзами подчинительными (*пока, когда, как, если, лишь только* и т. п.); но сюда подойдут и так называемые „относительные местоимения и наречия“ (*который, какой, где, куда, зачем* и т. д.). Говорю „так называемые“, потому что зачастую действительно нет причин видеть, например, в относительном *который* знаменательное слово, так как оно имеет лишь формы знаменательных слов, но не их значение. Сомневающиеся пусть попробуют определить, чем является *который* — существительным или прилагательным во фразе *я нашел книгу, которая считалась пропавшей***. Точно так же трудно признать наречие в *когда* хотя бы и в таком примере, как *в тот день, когда мы переезжали на дачу, шел дождик*. Однако возможность контаминации двух функций — служебной (относительной) и знаменательной, особенно существительной, — несомненна. Можно бы даже говорить о „знаменательных относительных словах“ (ср. знаменательные связки). Например: *гуляю, с кем хочу; отец нахмурил брови, что было признаком надвигавшейся грозы*.

Формальными признаками категории относительных слов является общее всем служебным словам отсутствие фразового ударения, а также то, что эти слова входят в состав синтагмы с характерной относительной интонацией. То, что делает эту категорию особенно живой и яркой, — это ее соотносительность со словами знаменательными:

Когда вы приедете, мы будем уже дома. | Когда вы приедете?

Я знаю, что вы пишете. | Что вы пишете?

Год, в котором вы приехали к нам, для меня особенно памятен. | В каком году вы приехали к нам?

Недаром относительность всеми всегда ощущалась как единая категория, хотя и фигурировала зачастую в двух разных местах грамматики.

* Я употребляю здесь эти слова, так же как и выше, на стр. 79, в самом широком смысле.

** Таким образом, подобно тому как существуют служебные слова спрягающиеся — связки, — возможны и служебные слова склоняющиеся.

Примечание. В косвенных вопросах мы видим контаминацию просительной, относительной и одной из знаменательных функций.

Оканчивая свое обозрение так называемых „частей речи“ в русском языке, я начинаю слышать тот стон, который идет из учительских рядов: „Как все это сложно? Неужели все это можно нести в школу? Нам надо бы что-нибудь попроще, подчетливее, попрacticalнее...“

К сожалению, жизнь людей не проста, и если мы хотим изучать жизнь, — а язык есть кусочек жизни людей, — то это не может быть просто и схематично. Всякое упрощение, схематизация грозит разойтись с жизнью, а главное, перестает учить наблюдать жизнь и ее факты, перестает учить вдумываться в ее факты. Важно не то, чтобы дети бойко и без ошибки, по старой или новой системе, классифицировали слова, а важно то, чтобы дети сами подмечали существующие в языке категории, вдумывались в слова, в их смысл и связи.

Проповедуя необходимость реформы старой школьной грамматики, я всегда отдавал себе ясный отчет в том, что реформа не поведет к облегчению. Идеалом была для меня всегда замена схоластики, механического разбора — живой мыслью, наблюдением над живыми фактами языка, думаньем над ними. Я знаю, что думать трудно, и тем не менее думать надо и надо, и надо бояться схоластики, шаблона, которые подстерегают нас на каждом шагу, всякий раз, как мысль наша слабеет. Поэтому не следует прельщаться легким, простым и удобным: оно приятно, так как позволяет нам не думать, но ложно, так как скрывает от нас жизнь; бесполезно, так как ничему не учит, и вредно, так как ввергает мысль нашу в дремоту.

Однако, как я говорю своим слушателям уж с самого начала моей педагогической деятельности, все трудности окажутся значительно более легкими, если мы до конца признаем тот факт, что дети владеют всеми грамматическими категориями своего родного языка и что наша задача только разбудить у них лингвистический инстинкт и заставить осознать уже имеющиеся категории. Все предшествующее исследование имело целью показать, на чем базируется этот инстинкт, и к начальному обучению вовсе не относится. Здесь надо лишь, не мудрствуя лукаво и не насилуя ни своего, ни детского языкового чутья, наклеить ярлыки на существующие у них категории, которые таким образом и будут приведены к сознанию. Вопрос, почему у нас существуют те или иные категории, — дело дальнейшего, более высшего преподавания.

Я счастлив, что имею нынче возможность выписать из только что полученной новой книги знаменитого датского лингвиста-мыслителя и методиста Jespersen'a „The Philosophy of Grammar“ (стр. 62) следующие слова: „При обучении элементарной грам-

матике я не начинал бы с определения отдельных частей речи, особенно с обыкновенных определений, которые так мало говорят, хотя и кажется, что они говорят много. Я поступил бы более практически. Несомненно, что при обучении грамматике человек узнает одно слово, как прилагательное, другое, как глагол, не справляясь с определениями частей речи, а тем же в сущности способом, каким он узнает в том или другом животном корову или кошку. И дети могли бы этому выучиться так же, как они выучились различать обычных животных, т. е. практически: им следует показать достаточное количество образцов и обратить их внимание на их различия. Я бы взял для этого небольшой связный текст, например какой-нибудь рассказ, и повторил бы его несколько раз, причем сначала напечатал бы курсивом все существительные. После того как они будут таким образом выделены и вкратце обсуждены с детьми, эти последние, вероятно, без больших затруднений узнали бы аналогичные существительные во всяком другом отрывке. Потом я повторил бы тот же самый рассказ, напечатав курсивом все прилагательные. Проходя таким образом различные классы слов, ученики понемногу приобретут тот „грамматический инстинкт“, который необходим для дальнейших уроков по морфологии и синтаксису как родного, так и иностранных языков“.


Январь — ноябрь 1924 г.

ДОБАВЛЕНИЕ

К сноске на стр. 77. Нынче летом я имел случай внимательно прочитать книгу М. Н. Петерсона „Русский язык“ (1925) и, к сожалению, должен констатировать, что соображения, высказанные мною в сноске, не могут относиться к этой книге (дело идет, конечно, о частях речи), которая наглядно показывает тот абсолютный тупик, в который заводит классификационная точка зрения. Мне кажется, что сам автор чувствовал это, вводя все-таки в отделе словообразования понятие глагола, и я надеюсь, что внимательно передумав весь вопрос, М. Н. Петерсон в основном вполне согласится со мной и со свойственным ему систематизирующим талантом дополнит и исправит мое эскизное изложение.

Октябрь 1927 г.





И. А. БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В НАУКЕ О ЯЗЫКЕ (1845—1929)

[„РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ“, 1929, № 6]

Новым поколениям довольно трудно составить представление о роли Бодуэна в истории науки о языке. Дело в том, что Бодуэн* писал охотно и много, однако он не написал ничего такого, что явилось бы хоть до некоторой степени полным отражением его лингвистической системы. Когда меня спрашивают, как познакомиться с идеями Бодуэна, то я беспомощно развожу руками и наудачу называю несколько наиболее оригинальных статей, посвященных тем или другим отдельным вопросам, но не дающих никакой цельной картины.

Бодуэн имел обыкновение высказывать свои мысли лишь „по поводу“ либо в своих многочисленных ценнейших монографиях, доступных, однако, лишь узкому кругу специалистов по данному вопросу, либо в статьях, помещавшихся зачастую в самых малодоступных изданиях, которых никто не читает. Я сомневаюсь например, есть ли где-либо у нас в Союзе полная коллекция „Baudouiniana“. Даже у меня, который всю жизнь собирал все, что им было когда-либо написано, не хватает очень многого.

Другая причина, затрудняющая для нас, русских, знакомство с его идеями, состоит в том, что, принадлежа в равной мере и русской и польской науке, Бодуэн много писал по-польски, помещая статьи тоже в самых разнообразных изданиях. Таким образом, чтобы изучить и понять Бодуэна, надо свободно читать по-польски, чем, конечно, не всякий лингвист может похвастаться. Для западноевропейских ученых язык и русских статей Бодуэна составляет большое препятствие к знакомству с ним, не говоря уже о почти абсолютной невозможности находить за границей

* Родился 13(1) марта 1845 г. близ Варшавы, воспитанник Варшавской главной школы. В 1870 г.— доктор философии в Лейпциге и магистр сравнительного языковедения в СПб. В 1875 г.— доктор сравнительного языковедения в СПб. В 1871 г.— приват-доцент С.-Петербург. университета, где и был первым преподавателем сравнительной грамматики индоевропейских языков; профессор (последовательно) Казанского, Дерптского, Краковского, С.-Петербургского и Варшавского университетов; был членом Краковской академии наук и членом-корреспондентом нашей Всесоюзной академии.

большинство тех изданий, где печатался Бодуэн. Все это является одной из причин (о других будет сказано ниже) не только того, почему Бодуэна трудно изучить, но и почему он не оказал того влияния на развитие науки о языке у нас и за границей, какого можно было бы ожидать*.

Зато на своих слушателей и вообще на людей, с которыми он непосредственно общался, он оказывал глубокое влияние. А так как за петербургский период его преподавательской деятельности (с 1900 по 1918 г.) через его руки прошло множество студентов-филологов СПб университета и слушательниц-филологичек б. Бестужевских курсов, то несомненно, что тысячи теперешних учителей русского языка получили от него тот или иной первоначальный импульс в области занятия языком. Этим, между прочим, оправдывается и появление настоящей статьи на страницах педагогического журнала.

Не говоря об оригинальности Бодуэна как ученого, к нему особенно привлекала его манера преподавания, состоявшая в том, что он зачастую как бы думал вслух перед своими слушателями. А так как он обладал совершенно исключительной способностью к комбинированию фактов и к их интуитивному обобщению, то его лекции и беседы действовали в высшей степени возбуждающим образом на мысль, хотя он и не был особо красноречивым оратором.

Специально методическими вопросами преподавания языка Бодуэн занимался мало (хотя у него есть статьи и по этому вопросу, например „Значение языка как предмета школьного преподавания“ — „Русская школа“, 1906, № 7—8), но его принципиальный интерес к описательной грамматике (о чем см. ниже) делал его преподавание особо ценным для школы. Его беспощадная критика ходячих школьных грамматик, которой он всегда уделял много времени и внимания, несомненно сыграла громадную роль в сдвиге в этой области, наблюдаемом у нас за последнее десятилетие**.

* Не могу удержаться, чтобы не посетовать на плохую организацию нашей лингвистической науки вообще, а у нас особенно: нет никакой централизации; нет возможности без особых усилий следить за ходом мысли человеческой в данной области; масса усилий отдельных личностей гибнет бесследно; до многого отдельные исследователи доходят совершенно независимо друг от друга (что отчасти трогательно, но, конечно, нецелесообразно). Само собой разумеется, что ученые, печатающие свои статьи в „Indogermanische Forschungen“, „Kuhns Zeitschrift“, „Mémoires de la société de linguistique de Paris“ и в некоторых других подобных изданиях, передают полностью свое духовное наследство своим современникам и потомству. Но многое и многое остальное осталось и остается в значительной мере вне главного русла развития науки. Совершенно очевидно, что давно пора организовать лингвистику так, как организованы точные науки, вроде физики, химии и т. п.

** Так называемые „формальные грамматики“, конечно, не могут удовлетворить вдумчивого лингвиста; но здесь важно уже принципиальное признание необходимости реформы грамматики как учебного предмета и признание необходимости его зависимости от состояния науки. Вне бодуэновской школы все считали, что научность грамматики сводится к ее историчности, и были лишь

Положительный вклад Бодуэна в этой области состоит прежде всего в последовательном различении буквы и звука, благодаря чему многие отделы морфологии приобретают совершенно иной вид, чем тот, к которому мы привыкли в старых грамматиках: *й* в *край*, *май* оказывается не окончанием им. падежа ед. числа, а составляет неотъемлемую часть основы; то же и в личных прилагательных притяжательных *мой*, *твой*, которые именительные падежи, оказывается, образуют по именному склонению.

Замечания на эти темы можно найти почти во всех работах Бодуэна, но полнее всего теория русского письма изложена им в книжечке, специально предназначенной для учительства: „Об отношении русского письма к русскому языку“ („Обновленная школа“, СПб, 1912). Книжечку эту, конечно, хорошо бы переиздать, так как она нисколько не утратила своей актуальности*.

Может показаться странным, что ученому-лингвисту ставится в заслугу различение букв и звуков, — это кажется элементарным. Однако если мы считаем теперь непростительным заблуждение в этой области, то едва ли не Бодуэну главным образом мы этим обязаны**.

Да и все ли здесь изжито? Когда говорят об окончаниях *-ою* и *-ой* творит. падежа ед. числа существительных женского рода как о разных окончаниях, то не является ли бессознательным от-правным пунктом общераспространенной грамматической интер-претации в данном случае написание? Объективное положение вещей состоит в том, что в окончании *-ою* гласный *у* является факультативным: его можно вовсе не произносить***, но он всегда возможен в отличие от *-ой* род., дат., предл. падежей прила-гательного склонения. Подобных более тонких случаев в морфоло-гии можно насчитать порядочное число. Сюда же можно отнести непризнание за ритмико-интонационными отношениями грамматиче-ских функций.

Другой книгой, очень полезной для широких масс учительства, является „Сборник задач по „Введению в языковедение“, по пре-

в недоумении относительно возможности внесения истории языка в школу; теперь, благодаря главным образом Бодуэну, никто не сомневается в том, что описательная грамматика тоже есть предмет науки и может быть сделана со-гласно требованиям современного языкознания, а может быть рутинной, схо-ластической. Хороших школьных грамматик русского языка еще мало, но это потому, что и хорошей научной описательной грамматики русского языка пока что не имеется, как их не имеется, пожалуй, и для других языков. Некоторое понятие о том, как я себе представляю научную описательную грамматику, можно себе составить по моей книге „Восточнолужицкое наречие“ („Записки историко-филологического факультета СПб ун-та“, СХХVIII, СПб, 1915), по-священной мною И. А. Бодуэну де Куртенэ как моему учителю.

* Конечно, с соответственными исправлениями и добавлениями по части новой орфографии.

** Этим я, конечно, не хочу умалить значения хорошей книжки Д. Н. Уша-кова „Русское правописание“. Она тоже сделала свое дело.

*** Само собой разумеется, я не хочу этим сказать, что в данный момент — это фонетическое явление.

имуществу применительно к русскому языку" (СПБ, 1912). К сожалению, вполне доступной она может быть только для лиц, учившихся у Бодуэна, так как связана с его устным преподаванием и с многочисленными литографированными изданиями его лекций, недоступных, конечно, для публики. Человек, проделавший такой задачник, не может, конечно, сказать, что он освоил основы языковедения, но он с полным правом скажет, что он научился кое-что наблюдать в языке. Следовало бы подумать о переиздании и о приспособлении этого задачника к существующим общим курсам; но не знаю, насколько возможны дальнейшие жертвы в этом направлении, ибо составление, а тем более переделки подобных вещей являются, конечно, жертвой для большого ученого.

Наконец, очень большое значение для школы имеет вводимое Бодуэном различие живых и неживых грамматических категорий, живых и неживых этимологий, живых и неживых словопроизводственных типов и т. п. Теперь это ходячая монета, но не всегда было так, и едва ли не Бодуэн был одним из пионеров в этом вопросе. Многое сюда относящееся, что мы читаем, например, в превосходной книге Ch. Bally „Traité de stylistique française“, было нам, ученикам Бодуэна, знакомо и раньше из его преподавания. Впрочем, надо сказать, что, признавая это различие в теории, многие и современные лингвисты не проводят его на практике, как я надеюсь специально на русском материале показать это в недалеком будущем. Одна из относящихся сюда (конечно, только отчасти) статей Бодуэна „Заметка об изменемости основ склонения“ („Русский филологический вестник“, 1902) есть переделка написанного им еще в 1870 г.

Переходя теперь к оценке научной деятельности Бодуэна в более узком смысле, прежде всего надо отметить, что преподавание Бодуэна в русских университетах (в Казани с 1875 по 1883 г. и в Петербурге с 1900 по 1918 г.) оставило заметный след в истории русской лингвистики в виде так называемой Казанской лингвистической школы (профессора Н. В. Крушевский, В. А. Богородицкий, С. К. Булич и А. И. Александров), нашедшей себе продолжение в СПб (профессора Л. В. Щерба, М. Р. Фасмер, рано погибший К. К. Буга и более молодые Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский, недавно скончавшийся В. Б. Томашевский, П. В. Ернштедт, В. В. Виноградов, И. А. Фалев, С. И. Бернштейн, Б. А. Ларин, А. П. Баранников и др., — не говоря о многих лингвистах-филологах, тоже прошедших школу Бодуэна). Большое отношение к школе Бодуэна имел наш покойный знаменитый тюрколог акад. В. В. Радлов и некоторые польские ученые, как например проф. Улашин, К. Ю. Аппель и др. *.

* Многие из них пошли своими собственными оригинальными путями, другие — более трафаретными; но все они получили ряд хороших прививок: уважение к живому языку, недурное знание фонетики, строгое различение

Сам Бодуэн не принадлежал ни к какой школе и всегда находился в оппозиции ко всему шаблонному, общепринятому и изжитому. Еще до младограмматиков он первый в большом масштабе и последовательно применил принцип аналогии в объяснении морфологических явлений („Einige Fälle der Wirkung der Analogie in der polnischen Deklination“ в „Beiträge zur vergl. Sprachforsch“, VI, 1868), принцип, на котором и базируется одно из основных положений младограмматиков,— отсутствие исключений из „звуковых законов“. Но в дальнейшем именно понимание младограмматиками звуковых законов находило у Бодуэна всегда самую жестокую критику (наиболее систематично в статье „O prawach głosowych“ в „Rocznik Sławistyczny“, IV, 1910).

Исключительно „исторический“ подход к фактам языка, характеризующий младограмматиков, тоже всегда встречал оппозицию у Бодуэна, который уже в самых ранних работах (см. „Отчеты командированного...“, Казань, 1877; „Подробная программа лекций 1877/78 уч. г.“, Казань — Варшава, 1879,— вещи, которые содержат уже многие основные идеи Бодуэна, однако в очень неудобной форме) подчеркивал возможность двух точек зрения на язык — статической и динамической (ср. много позднее „linguistique synchrone“, „linguistique diachronique“ у de Saussure'a) и всю свою жизнь отстаивал против большинства своих современников законность первой.

Самое название книги Пауля, представляющей из себя канон лингвистических теорий младограмматиков „Principien der Sprachgeschichte“, вызывало осуждение Бодуэна, и он противопоставлял ему „Теоретическое (или общее) языкознание“. Вообще факты для Бодуэна ценны не сами по себе, а лишь как средства для объяснений, обобщений и выводов. И не мало жестоких, а иногда, может быть, и несправедливых насмешек по адресу ученых, не видящих леса из-за деревьев, можно найти в его писаниях. Но надо подчеркнуть, что он имел нравственное право издеваться над крохоборством иных филологов, так как сам очень много работал над установлением фактов.

В этой же связи стоит и предпочтение, которое Бодуэн всегда отдавал и отдает живым языкам перед мертвыми; на живых языках скорее можно изучить связь явлений, причины их изменений, всю совокупность факторов, управляющих жизнью языка. Младограмматики тоже призывали к изучению живых языков и говоров, но их интересовали в говорах преимущественно пережитки старого. Благодаря этому большая часть существующей диалектологической литературы не дает истинной картины современного состояния говоров. Бодуэна интересуют отдельные говоры как та-

письменного и произносимого языков, критическое отношение к пониманию языка как организма или вообще как чего-то самодовлеющего и независимого от общества и конкретных условий его жизни, а также целый ряд важных понятий, о которых будет сказано ниже.

ковые, в их полной реальности, в их соприкосновении с другими говорами и языками, в условиях их материального и социального бытования: его особенно интересуют вновь зарождающиеся в них явления.

Поэтому он так много и занимался исследованием говоров, и эти-то его занятия и обуславливают его силу как теоретика: у него колоссальный живой опыт в области разнообразных языков, приобретенный им не в кабинете над книгой, а в реальной жизни. Он счастливым образом соединяет в себе талант лингвиста-наблюдателя с талантом полиглота (крайне редкий случай), и благодаря этому по любому вопросу он сразу может мобилизовать значительный живой материал.

В противовес представителям классической сравнительной грамматики Бодуэн во многих случаях скептически относился к установлению праязыков разных степеней и сомневался в реальности многих предположений в этой области (ср. его обзоры славянского языкового мира в русской и французской энциклопедиях).

Бодуэн скептически относился к правоверному „родословному дереву“ Шлейхера, но не довольствовался и „теорией волн“ Юганна Шмидта, подчеркивая разнообразие путей, какими могут дифференцироваться или, наоборот, объединяться языки и говоры. Между прочим, вопросы смешения языков или их скрещения, как он тогда говорил, поставлены им во всей их полноте еще в 1875 г. в докторской диссертации или, вернее, в положениях о ней (см. „Опыт фонетики резьянских говоров“, СПб — Варшава, 1875, стр. 120, 124 и 125; ср. также статью „О смешанном характере всех языков“ — „Ж.М.Н.Пр.“, 1901)*.

С давних пор (ср. еще вышеупомянутые „Программы“) Бодуэн восставал против упрощенной морфологической классификации языков (языки изолирующие, агглютинативные и флективные) и особенно против придания ей оценочного характера и исторического значения (ср. „Indogerm. Forsch“, XXVI, Anzeiger, стр. 51—58).

Основной чертой лингвистических воззрений Бодуэна придется считать его „психологизм“, к которому он приходил в борьбе с гипостазированием языка как какого-то самодовлеющего организма, с пережитками натурализма в лингвистике. Во всех явлениях языка он старался видеть говорящих и слушающих людей в их реальном взаимодействии. В этом он сходится с такими учеными, как Г. Шухардт и О. Есперсен, стоявшими, подобно Бодуэну в России, в некоторой оппозиции к большинству своих со-

* Может быть интересной еще и нынче следующая цитата оттуда: „Возможность влияния иноплеменных языков и наречий, переставших существовать и поглощенных данным языком, но все-таки завещавших ему, так сказать, некоторые части своего достояния,— или, другими словами, возможность отражения погибших языков не только в запасе слов, но также и в некоторых фонетических и вообще грамматических особенностях ныне существующих наречий и говоров“.

временников. Однако Бодуэн сознательно отталкивается и от чрезмерного индивидуализма некоторых лингвистов, ищущих зарождения языковых изменений в отдельных личностях и приписывающих их распространение исключительно подражанию. В противовес этому пониманию вещей Бодуэн вводит понятие коллективно-индивидуального фактора и говорит о влиянии одинаковых условий на изменение речи у членов данного коллектива (подробнее об этом см. в вышеупомянутой статье „O prawach głosowych“).

Как видно из только что сказанного и из многих других высказываний, рассеянных по его статьям, Бодуэн считал язык социальным явлением; больше всего его интересовали реальная жизнь этого общества и роль в них индивидов. Понятие „развитие языка“ в смысле типичного для лингвистического натурализма биологического развития особи казалось ему метафизическим* (оно и было таким у многих его современников), и, допуская лишь „развитие индивида“, Бодуэн создает понятие „истории языка“. Вот что он говорит по этому поводу в статье „O ogólnych przyczynach zmian językowych“ (см. „Szkice językoznawcze“, I, Warszawa, 1904, стр. 52):

„Если индивиды влияют друг на друга, если развитие одного индивида зависит от развития других индивидов и в свою очередь обратно на них влияет, то история общества разлагается на сумму развитий отдельных индивидов. В конце концов история есть тоже развитие, но развитие прерывистое, как в пространстве, так и во времени. Людей, живущих одновременно, разделяет пространство; людей, живущих разновременно, разделяет время. Но это не абсолютное разделение, наоборот, как уже было выше сказано, эти пустоты между отдельными индивидами заполнены средой, обуславливающей их взаимопонимание и взаимное друг на друга влияние. Короче, история — опосредствованное развитие.

Обязательным условием настоящей истории, как развития прерывистого, но связанного со средой, является непрерывность общения между людьми. Люди, живущие одновременно, влияют друг на друга. Всякое новое поколение, вновь нарождающееся и подрастающее, непрерывно сталкивается в лице отдельных своих представителей с представителями предшествующего поколения, образуя так называемое „современное поколение“, и так далее, без конца. Если оборвется нить взаимного общения, прекратится история общества, а также история языка. Если между одним и другим поколением произойдет хотя бы весьма кратковременный разрыв, непрерывность истории нарушается“.

И дальше:

„Я говорил, что история является прерывистым развитием, развитием опосредствованным. С этой точки зрения мы можем го-

* Ибо развитие, по его мнению, может быть свойственным лишь чему-либо непрерывному, а непрерывность свойственна лишь миру физическому и биологическому.

ворить о развитии, разлагающемся на развития отдельных индивидов.

Это понятие является совершенно необходимым для наших целей: ведь без него мы не были бы в состоянии объяснить изменения, происходящие в языках. Объяснение языковых изменений может быть только психологическим или в известных пределах физиологическим. Психологическое же и физиологическое существование свойственны лишь индивиду, но не обществу. Психические и физиологические процессы протекают лишь в индивидах, и ни в коем случае не в обществе. А что они протекают у отдельных особей сходно и даже одинаково, так это зависит от одинаковости их устройства и *от одинаковости условий их существования, а кроме того при психических изменениях от само собой подразумевающегося общения между собой обобществленных особей**. Развитие одной особи прививается или переносится на развитие другой“.

Из этих выписок совершенно ясно, каково содержание „психологизма“ Бодуэна. К этому „психологизму“ его приводила практика объяснений языковых изменений, которые иначе пришлось бы оставлять необъясненными (а в дальнейшем вся его статья именно и сводится к сообщению богатого материала на эту тему). Надо сказать, что психология Бодуэна довольно условная: он прибегает к ней, как сам говорит в статье „O psychicznych podstawach zjawisk językowych (см. „Przegląd filozoficzny“, 1903, стр. 153), из-за неразработанности физиологии головного мозга, не будучи в состоянии объяснять языком физиологии центральной нервной системы все те языковые изменения, с которыми он встречался как лингвист (см. богатый материал к этому в „Proba uzasadnienia samoistności zjawisk psychicznych na podstawie faktów językowych“, W. Krakowie, 1904)**.

Будучи довольно наивным материалистом, как и подобает человеку его поколения (он учился и созрел в шестидесятых годах), Бодуэн всю жизнь, однако, ожесточенно боролся с материализацией, овеществлением языка, столь свойственным старым филологам, которые в памятниках видели единственную научную реальность и для которых „переход буквы *a* в букву *e*“ совершался где-то в безвоздушном пространстве. Бодуэн звал от памятников к живым людям и всячески возражал против механического объяснения языковых изменений. В этом его основная и громадная заслуга перед наукой о языке; я бы сказал — в этом была бы его мировая заслуга, если бы он писал на более известных языках, так как в настоящее время лед сломан и никто больше не зани-

* Подчеркиваю эти слова, потому что они ясно показывают, как Бодуэн представляет себе две стороны языковых явлений — психофизиологическую и социальную в их взаимоотношении.

** Между прочим, в первой из названных статей он тщательно подчеркивает, что не считает сознательность признаком „психического“.

мается объяснением изменений языка в отрыве от людей, от общества, его употреблявшего*. Возможно, что Бодуэн, явившись в то время, когда наука о языке в целом не справилась еще с теми импульсами, которые она получила от открытий сравнительной грамматики индоевропейских языков и от эволюционной точки зрения, пришел слишком рано. В таком случае за ним следует признать славу предтечи.

Несмотря на то, что всей окружающей обстановкой Бодуэн вынуждался к подчеркиванию по преимуществу психической стороны жизни языка, он живо интересовался и социальной. Он всю жизнь собирал материалы по дифференциации языка по классам, сословиям и т. п., о чем он говорит, между прочим, хотя бы в послесловии к 3-му изданию словаря Даля (см. т. IV, стр. IV) ⁶.

„...Вследствие происшедших глубоких потрясений совершились не только быстрые перемены в разных областях жизни и мировоззрения почти всех классов общества, но точно так же быстрые перемены в понимании значения некоторых слов. Если и в обыкновенное, мирное время значение слов постоянно меняется и разнообразится, смотря по принадлежности индивидов не только к той или другой местности, но даже к тому или другому сословию, классу общества и даже „партии“, — то тем необходимее далеко идущее изменение значений слов в только что пережитое и еще до сих пор переживаемое „революционное“, „контрреволюционное“ и вообще крайне анархическое время. У различных враждующих между собой „партий“ одни и те же слова получают различные, иногда диаметрально противоположные значения и вызывают различное настроение...“

Отчасти отсюда же объясняется и его интерес к разным профессиональным тайным языкам (ср. вышедший под его редакцией словарик Трахтенберга „Блатная музыка“), к функциональной дифференциации языка (его интерес к „поэтическому языку“) и т. п.

Здесь уместно вспомнить и его попытку объяснения имен родства в индоевропейских языках (*pater, frater, soror* и т. д.); он пробовал выводить их целиком из социальных отношений первобытного общества, утверждая, что биологический их смысл является вторичным (ср. „Ж.М.Н.Пр.“, 1903, № 5, отд. 2 — „Лингвистические заметки и афоризмы“, VII, стр. 20 и сл.).

В этой же связи следует упомянуть и о позициях Бодуэна по вопросу об искусственном международном языке. В этом вопросе он столкнулся, и довольно резко, с представителями господствовавшего еще в то время в Германии и у нас направления. В противоположность им он допускает возможность распространения такого языка при наличии соответственных социальных предпосы-

* Само собой разумеется, что сила Бодуэна не в системе его „философии“, которая далеко не всегда последовательна, которую легко критиковать с разных точек зрения, а, как сказано было выше, в конкретных объяснениях живых языковых явлений, которые остаются непререкаемыми.

лок. Здесь в последний раз резко и четко столкнулись два лингвистических мировоззрения: отживающее младограмматическое и оппозиционное бодуэновское. (На стороне последнего, впрочем, стояли такие корифеи европейского языкознания, как недавно скончавшийся Г. Шухардт, О. Есперсен и отчасти французская школа в лице Мейе; полемика между Бругманом и Лескиным, с одной стороны, и Бодуэном — с другой, является очень поучительной в этом отношении (см. 1) Karl Brugmann und August Leskien, Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen, Strassburg, Frütner, 1907; 2) I. Baudouin de Courtenay, Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen, Ostwald's „Annalen der Naturphilosophie“, VI, 385—433; 3) K. Brugmann und A. Leskien, Zur Einführung einer künstlichen internationalen Hilfssprache, „Indogermanische Forschungen“, XXII, 365—396.)

Все сказанное было причиной известной изоляции Бодуэна среди современников, о чем упоминалось уже выше, но имело своим последствием и то, что ученики его в новейших теоретических достижениях западной лингвистики зачастую не видят для себя чего-либо абсолютно нового. Когда в 1923 г. мы получили в Ленинграде „Cours de linguistique générale“ de Saussure'a (посмертное издание лекций по общему языкознанию знаменитого лингвиста, профессора Женевского университета, — книга превосходная и произведшая большое впечатление на Западе), то были поражены многочисленными совпадениями учения Соссюра с привычными нам положениями*. Различения языка, как системы, и языка, как деятельности („langue“ и „parole“ de Laussure'a), не такое четкое и развитое, как у Соссюра, свойственно и Бодуэну. Ср. „Некоторые общие замечания о языковедении и языке“ (СПБ, 1871, стр. 36—37). Кроме того, все учение Бодуэна о „фонеме“, как о чем-то постоянном, устойчивом, имеющем или могущем иметь семантические ассоциации, а потому имеющем социальное значение, в отличие от осуществляемого лишь в процессе речи звука, покоится в сущности на этом различии. Столь характерное для Соссюра выдвигание „синхронического языкознания“, как мы видели уже выше, является одной из основ всей научной деятельности Бодуэна. Знаковому характеру языка, подчеркиваемому Соссюром, можно указать в виде параллели понятие „семасиологизации или морфологизации“, т. е. являющееся капитальным в системе взглядов Бодуэна, понятие, согласно которому лишь то, что „семасиологизовано или морфологизовано“, т. е. является „знаком“, что имеет какую-либо функцию, может считаться лингвистическим фактом, будь то порядок слов, интонация, группа звуков или отдельный звук или даже свойство звука, например „мягкость“, а в области зрительного языка и такие вещи, как абзац, большая буква и т. п. Из

* Ср. протокол заседания лингвистической секции Исследовательского института языков и литературы Востока и Запада от 8/XII 1923 г., на котором книга Соссюра реферировалась сотрудником института С. И. Бернштейном.

мелких совпадений можно указать, например, на учение о фонетическом и морфологическом нуле, как на нечто исконно общее обоим авторам, и на многое другое*. Само собой разумеется, что все эти совпадения не исключают наличия и целого ряда глубоких расхождений между Бодуэном и Соссюром, как например во взгляде на возможность языковой политики (Соссюр отрицал эту возможность), и во многом другом. Идеи Бодуэна нашли себе, впрочем, признание в той или иной мере в связи с его именем: теория альтернатив (ср. „Próba teorji alternacyj fonetycznych“, 1894=„Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen“, Strassburg, 1895); так называемая „теория фонем“, к которой Бодуэн постоянно возвращался в своей литературной деятельности и которую я развил в своей книге „Русские гласные“ („Записки историко-филологического факультета СПб университета“, CVII, 1912); термин „морфема“ (ср. французский перевод Brugmann'a „Kurze vergleichende Grammatik“) и кое-что другое.

В заключение можно обратить внимание еще на два пункта: прежде всего на то, что в России Бодуэн был первым и почти что единственным фонетиком в европейском смысле этого слова. Отчасти в связи с этим он и является замечательным исследователем живых языков и говоров (ср. его превосходный, уже упоминавшийся „Опыт фонетики резьянских говоров“, целый ряд ценнейших статей и монографий в области славянской диалектологии и несколько томов „Материалов для южнославянской диалектологии и этнографии“).

Во-вторых, не следует упускать из виду того, что Бодуэн с совершенно исключительной способностью к обобщениям, о чем было сказано выше, соединяет и громадную филологическую акрибию, свидетелем чего является, между прочим, его магистерская диссертация „О древнепольском языке до XIV столетия“ (Лейпциг, 1870), до сих пор сохраняющая научное значение.

Я не буду говорить о частностях, интересных лишь для более узких специалистов, как например объяснение вставочного *n* в славянском местоимении 3-го лица, закон палатализации заднеязычных после палатальных гласных и сонантов, отражение индоевропейского начального *ш* в славянских языках (закон Лидена, который, по-видимому, независимо от него был найден Бодуэном), понятие факультативных фонем (еще в „Опыте фонетики резьянских говоров“), аналитические формулы звуков („Из лекций по латинской фонетике“, Воронеж, 1893), суждения по кашубскому вопросу („Kurzes Resumé der „Kasubischen Frage“, „Arch. S. Ph.“, XXV, 1904) и т. д., и т. д.

Список ученых трудов Бодуэна де Куртенэ до 1895 г. можно найти в „Критико-биографическом словаре“ Венгерова. Дальнейшую библиографию можно найти в „Księga pamiętkowa Zjazdu b.

* Все сказанное, конечно, нисколько не умаляет значения книги Соссюра, из которой многому можно научиться и которой я лично многим обязан.

wychowawców b. Szkoły głównej Warszawskiej w 40-tą rocznicę jej założenia", Warszawa, 1905 (стр. 57—62) и во второй такой же книге „Księga pamiątkowa ... w 50-tą rocznicę jej założenia", Warszawa, 1914 (стр. 97—100).

Вот названия нескольких самых важных вещей, вышедших после 1895 г., из числа не упомянутых выше: „Wskazówki dla zapisujących materiały gwarowe na obszarze językowy polskim" — „Materiały i Prace Komisji językowej w Krakowie", 1901; „Zur „Sonanten“-Frage" — „Indogerm. Forsch.", Anzeiger, XXVI, 1910; „Zarys historii językoznawstwa czyli lingwistyki", Poradnik dla samouków, cz. VI, t. 2, z. 2; „Charakterystyka psychologiczna języka polskiego", Encyklopedia polska, t. II, p. 154—226, 1915; „Zarys historii języka polskiego", Warszawa; „Einfluss der Sprache auf Weltanschauung und Stimmung", Warszawa, 1929.

Ряд пособий применительно к университетским курсам (кроме ранее упомянутых): „Польский язык сравнительно с русским и древнецерковнославянским" (СПБ, 1912); „Сравнительная грамматика славянских языков" (литограф. курс); „Введение в языковедение" (литограф. курс под редакцией автора — последнее издание пятое, 1917) и др. *.

* К сожалению, не имею данных для полной библиографии после 1914 г.





ОПЫТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТОЛКОВАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ *

II. „СОСНА“ ЛЕРМОНТОВА В СРАВНЕНИИ С ЕЕ НЕМЕЦКИМ ПРОТОТИПОМ **

[СОВЕТСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ, т. II, ЛЕНИНГРАДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕД. ИНСТИТУТ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ, 1936] ⁷

Целью и этого опыта толкования стихотворений является показ тех лингвистических средств, посредством которых выражается идейное и связанное с ним эмоциональное содержание литературных произведений. Что лингвисты должны уметь приводить к сознанию все эти средства, в этом не может быть никакого сомнения. Но это должны уметь делать и литературоведы, так как не могут же они довольствоваться интуицией и рассуждать об идеях, которые они, может быть, неправильно вычитали из текста. Само собой разумеется, что одного узколингвистического образования недостаточно для понимания литературных произведений: эти последние возникают в определенной социальной среде, в определенной исторической обстановке и имеют своих сверстников и предшественников, в свете которых они, конечно, только и могут быть поняты. Но плох и тот лингвист, который не разбирается в этих вопросах.

Я уже неоднократно высказывался устно и печатно о том, что нашей культуре издавна не хватает умения внимательно читать и что нам надо поучиться этому искусству у французов. Это особенно важно сейчас, когда мы создаем новые кадры и читателей и писателей. И я буду счастлив, если мои опыты пересаживания французского *explication du texte* (так называются соответственные упражнения во французских школах, средних и высших) найдут подражателей и помогут делу строительства новой, социалистической культуры в нашей стране. Лермонтовское стихотворение, поставленное в подзаголовке, выбрано мною потому, что оно является переводом стихотворения Heine „Ein Fichtenbaum steht einsam“. Благодаря наличию термина для сравнения выразитель-

* См. „Русская речь“, I, изд. Фонетического ин-та, 1923, где помещен первый опыт — „Воспоминание“ Пушкина. [См. стр. 26 настоящей книги.— *Ред.*]

** В основе настоящей статьи лежит доклад, сделанный мною впервые в иностранной секции Общества изучения и преподавания языка и словесности в 1926 г.

ные средства обоих языков обнаруживаются таким образом гораздо легче, что и подтверждает другую мою, тоже неоднократно высказывавшуюся мысль о значении знания иностранных языков для лучшего понимания родного. Только, конечно, не интуитивного знания, получавшегося от гувернанток, а сознательного знания, получающегося в результате упорного чтения текстов под руководством опытного и умного преподавателя.

Дюшен называет перевод Лермонтова точным, и, действительно, он может быть назван с формальной точки зрения довольно точным. В дальнейшем, путем подробного лингвистического анализа, я постараюсь показать, что лермонтовское стихотворение является хотя и прекрасной, но совершенно самостоятельной пьесой, очень далекой от своего quasi-оригинала.

Ein Fichtenbaum steht einsam	На севере диком стоит одиноко
Im Norden auf kahler Höhl	На голой вершине сосна
Ihn schläfert, mit weisser Decke	И дремлет качаясь, и снегом сыпучим
Umhüllen ihn Eis und Schnee.	Одета, как ризой, она.
Er träumt von einer Palme,	И снится ей все, что в пустыне далекой,
Die fern im Morgenland	В том крае, где солнца восход,
Einsam und schweigend trauert	Одна и грустна на утесе горячем
Auf brennender Felsenwand.	Прекрасная пальма растет.

Fichtenbaum, что значит „пихта“, Лермонтов передал словом *сосна*. В этом нет ничего удивительного, так как в русско-немецкой словарной традиции *Fichte* и до сих пор переводится через *сосна*, так же как и слово *Kiefer*, и обратно — *пихта* и *сосна* переводятся через *Fichte*, *Fichtenbaum* (ср. „Российский с немецким и французским переводами, словарь“ Нордстета, 1780—82 гг.).

В самой Германии слово *Fichte* во многих местностях употребляется в смысле „сосна“, и, по всей вероятности, Гейне под *Fichtenbaum* понимал именно „сосну“. Для образа, созданного Лермонтовым, сосна, как мы увидим дальше, не совсем годится, между тем как для Гейне ботаническая порода дерева совершенно не важна, что доказывается, между прочим, тем, что другие русские переводчики перевели *Fichtenbaum* *кедром* (Тютчев, Фет, Майков), а другие даже *дубом* (Вейнберг). Зато совершенно очевидно уже из этих переводов, что мужеский род (*Fichtenbaum*, а не *Fichte*) не случаен* и что в своем противоположении женскому

* На это мимоходом обратил внимание Потебня („Из записок по теории словесности“, 1905, стр. 69) и более подробно, хотя, по-моему, не очень удачно, Бархин („Сочинения М. Ю. Лермонтова“, ч. I, 1912, стр. 132) (очень интересное с педагогической точки зрения издание избранных сочинений Лермонтова с подробными комментариями и объяснениями, к сожалению, забытое и, к еще большему сожалению, не нашедшее подражателей).

роду *Palme* он создает образ мужской неудовлетворенной любви к далекой, а потому недоступной женщине. Лермонтов женским родом *сосны* отнял у образа всю его любовную устремленность и превратил сильную мужскую любовь в прекраснодушные мечты. В связи с этим стоят и почти все прочие отступления русского перевода.

По-немецки психологическим и грамматическим подлежащим является стоящее на первом месте *Fichtenbaum*, которое, таким образом, и является героем пьесы. По-русски *сосна* сделана психологическим сказуемым и, стоя на конце фразы, как бы отвечает на вопрос: „Кто стоит одиноко?“ Ответ мало содержательный, так как ничего не разъясняет нам;* но сейчас для нас это и неважно — важно только подчеркнуть, что у Лермонтова *сосна* лишена той действенной индивидуальности, которую она имеет в немецком оригинале как подлежащее.

Далее, по-русски, в противоположность немецкому, обстоятельные слова *на севере диком* вынесены вперед, благодаря чему получается вместо сдержанного делового тона немецкого оригинала тон эпический, тон благодушного рассказа.

В лексическом отношении ничего существенного нельзя возразить против лермонтовского перевода. Прибавка эпитета *дикий* вполне приемлема, так как раскрывает слово *север* именно с нужной стороны, подчеркивая одиночество. Передача *auf kahler Höh* через *на голой вершине* вполне законна, вопреки Дюшену**, который думал, что надо перевести *на лысой вершине*. Ведь мы говорим *голый череп, голое дерево, голые скалы, голая местность* и т. д. (ср. „Словарь русского языка АН“ 1895 года).

Steht einsam было бы, может быть, лучше и точнее перевести *стоит одинокая* или *стоит в одиночестве*, чтобы больше подчеркнуть формальный характер глагола *stehen* и выдвинуть идею одиночества как основной признак; однако и лермонтовский перевод все же никак не искажает оригинала.

И дремлет качаясь, как перевод *ihn schläfert*, на первый взгляд, тоже не является чересчур большим отступлением, ибо *качаясь* вводится естественными ассоциациями с *дремлет*; что же касается материальной стороны образа, то *auf kahler Höh* предположить ветер более чем естественно. *Дремлет* вместо дословно

* Нужно, впрочем, сказать, что отсутствие в русском языке неопределенного члена делает невозможным сделать из *сосны* индивидуальность, которая нужна для образа: „Сосна стоит одиноко на голой вершине“ нельзя сказать, так как это значило бы, что *сосна* растет одиноко на голых вершинах; сказать „некая *сосна*“ нельзя, так как это говорит несколько больше, чем даже немецкий текст, и стилистически не подходит. Лучше всего было бы сказать „одна *сосна*“, как мы говорим „один доктор рассказывал нам“, „одна старушка, живущая в этом доме, приходит к нам“ и т. п. Однако все же „одна *сосна*“ звучит несколько двусмысленно ввиду непривычности индивидуализации неодушевленных предметов: „один стол стоял в комнате“ может значить только, что в комнате, кроме стола, ничего не было.

** „M. J. Lermontow“, 1900, стр. 240.

ей спится не придает состоянию чересчур активного характера, так как самое понятие „дремлет“ лишено этой активности. Однако все же в русском тексте исчезает идея внешних сил, обуславливающих сонливость, сил, на которые указывает немецкая безличная форма; и это в связи с прибавкой слова *качаясь*, направляющего мысль на образ баюкания, сладостной дремоты, чего уже в оригинале абсолютно нет: *ihn schläfert* лучше было бы перевести *его морит сон*, причем этот сон вовсе не обязательно сладкий.

Любопытно отметить, что Тютчев еще более, чем Лермонтов, развил идею сладкого сна и идею ветра (эту последнюю не без некоторого внутреннего противоречия, на что указал еще Шаров)*:

И сладко заснул он в инистой мгле,
И сон его вьюга лелеет.

Зато Фет был сдержаннее и ближе к оригиналу:

Он дремлет сурово покрытый
И снежным и лдяным покровом.

Также и Овсяннико-Куликовский („Вопросы психологии творчества“, 1902, стр. 142):

И дремлет, и белым покровом
Одели ее снег и лед.

Любопытно отметить и то, что в обоих известных черновых набросках интересующего нас стихотворения фигурирует слово *качаясь*: очевидно, оно очень подходило к идее Лермонтова (см. ниже).

Следующая фраза представляет собой едва ли не центральное место для понимания немецкого стихотворения, место, которое Лермонтов коренным образом изменил в связи со своими унастроениями. По-немецки покров (*Decke*) сосны образуют лед и снег; по-русски — *снег сыпучий*. Очевидно, что первое сковывает, а второе лежит мягко и может лишь содействовать впечатлению волшебной сказки, вводимому словами *и дремлет качаясь* и усугубляемому сверкающей очевидно на солнце *ризой*, в которую превратилось *Decke***.

* В своей статье — „Стихотворения Г. Гейне в переводе Ф. И. Тютчева“. Труды Белорусского гос. университета, 1922, № 1, 2.

** Я не боюсь конкретизировать поэтические образы и после иронических замечаний Р. О. Шор („Язык и общество“, 2, 1926, стр. 78) по поводу моих аналогичных рассуждений относительно стихов Пушкина: „Мечты кипят, в уме, подавленном тоской, теснятся тяжких дум избыток“ (см. мой первый „Опыт“ — „Воспоминание“ Пушкина); само собой разумеется, что всякая конкретизация образа плоха, но не потому, что образ есть логическая схема, а потому, что она обедняет его. Сущность образа вовсе не в его бледности и отсутствии сопутствующих ассоциаций, а именно в многообразии этих последних. Однако это многообразие не бесконечно, а всегда бывает куда-нибудь направлено, и

Лермонтова не смущают ни ветер, который предполагается его же вставкой слова *качаясь* и от которого снег должен был бы облетать, ни сосна, на которой сыпучий снег никак не держится, — ему нужен красивый поэтический образ, уничтожающий трагедию немецкого оригинала, и он рисует всем нам знакомый восхитительный, хотя и несколько меланхоличный, облик ели, густо обсыпанной легким снегом, который сверкает на солнце*.

Что для Гейне образы *Eis und Schnee* были более важны, чем *weisse Decke*, явствует из порядка слов, из того, что грамматическое подлежащее *Eis und Schnee* он сделал психологическим сказуемым (ср. *Der neue Direktor kommt heute* и *Heute kommt der neue Direktor*): „белым покровом** облегают ее лед и снег“ звучит точный, более или менее угаданный Фетом и Овсяннико-Куликовским (см. выше) перевод, который показывает недвусмысленно, что *Fichtenbaum* находится не только в одиночестве, но и в суровом заточении, лишаящем его возможности действовать (ср. безличную форму — *ihn schläfert*).

Во второй строфе почти все известные мне переводчики понимают *er träumt* как „ей снится“ или „видится во сне“ (только Майков переводит *дремлет и видим*), т. е. переводят личную конструкцию — безличной и не хотят понимать *träumen* как „мечтать“. Между тем наличие этого значения в немецком несомненно (ср. у Goethe, W. Meist., 6: *Mein geschäftiger Geist konnte weder schlafen noch träumen*; у Schiller, *Hoffnung: Es reden und träumen die Menschen viel von besseren künftiger Tagen* (Heune, Deutsches Wörterbuch). При этом надо отметить, что значение это выражается исключительно личной формой, тогда как значение „сниться“ может выражаться и лично и безлично (примеры см. у Heune, Deutsches Wörterbuch). Я полагаю, что личное употребление глагола *träumen* в смысле „видеть во сне“, а в связи с этим и самое значение „мечтать“ развились не без влияния французского

все искусство художника и состоит в том, чтобы направить возможные и необходимые, хотя и нечеткие ассоциации по определенному пути, дело же критика и толкователя вскрыть эту направленность и указать те выразительные средства, которые употребил в данном случае художник. При этой операции очень легко можно способом выражения оскорбить деликатные художественные чувства читателя, в чем я, очевидно, и был виноват.

* Я не вижу в этих неточностях ничего антихудожественного, так как они не замечаются в общем потоке выразительных средств, вводимых Лермонтовым для передачи его умонастроений. Сказочным тоном, ритмикой (о чем см. ниже) он умеет усыпить нашу бдительность и направить наше воображение по другим путям. У Пушкина, пожалуй, этого не найдем, но у Гоголя можно встретить гораздо большие несообразности, которые, однако, не портят впечатления.

** Словарно *Decke* можно понимать и как „одеяло“. Так и понимает (но не переводит) Овсяннико-Куликовский (см. его бездоказательные рассуждения об умении Гейне пользоваться прозаическими словами, *op. cit.*, стр. 14). Однако едва ли, несмотря на *ihn schläfert*, здесь присутствует эта внутренняя форма, которая чересчур конкретизировала бы образ. Ей противоречил бы и глагол *umhüllen*. Во всяком случае и перевод „белым одеялом облегают ее лед и снег“ ничего не изменяет в моих рассуждениях.

rêver: и то и другое, по-видимому, датируется XVIII в. Во французском *rêver* тр между значением „voit en rêve pendant le sommeil“ и значением „imaginer comme dans un rêve“ (см. Hatzfeld, Darmesteter, Thomas, Dictionnaire Général) нет такой пропасти, как в русском между „видеть во сне“ и „мечтать“. Я полагаю, что ее нет и в немецком (см. Heyne, Deutsches Wörterbuch: „In freierer Bed. von Gedanken und Einbildung, wie im Traume: „ich träume nicht, ich wähne nicht“, Goethe, Werther, II“) и что поэтому личное *träumen*, в противоположность безличному, не всегда можно переводить *видеть во сне*: оно имеет на самом деле более общее недифференцированное значение „мечтать, воображать (во сне или наяву)“, реализуясь по-разному, в зависимости от контекста. В данном случае ввиду *ihn schläfert* предшествующей строфы *er träumt*, по-видимому, реализуется в смысле „мечтает в полусне, в забытье“ или „грезит“, как и переводит Шаров (см. указ. соч., стр. 101).

Во всяком случае перевод *снится ей* своей безличной формой, подчеркивающей независимость действия от личной воли, является неправильным и искажает образ Гейне в том же направлении, в каком он искажен заменой *Fichtenbaum* сосной, т. е. лишая его волевой направленности. Это продолжается и дальше тем, что точное указание оригинала на непосредственный объект мечтаний (*von einer Palme*) заменено длинным придаточным предложением о нахождении где-то „прекрасной пальмы“. Точнее было бы в данном случае, если не правильное *он мечтает об одной пальме*, то по крайней мере *ей снится одна пальма*, почти как и находим в одном из черновых вариантов, но от чего Лермонтов, по-видимому, сознательно отступил в окончательной редакции.

Fern переведено *в пустыне далекой*. Так как пальма вообще связана для нас с пустыней, и так как *auf brennender Felsenwand* действительно дает повод говорить о какой-то знойной грозной пустыне, то прибавка эта в общем вполне законна. Однако Лермонтов все сделал, чтобы не только обезвредить эту пустыню, но даже обратить ее на службу своей идее: он снабдил ее эпитетом *далекая*, превратив таким образом реальную пустыню в легендарную сказочную и желанную страну*, и развил еще целым выражением *в том крае, где солнца восход*, выражением,

* Ср. Лети, корабль, неси меня к пределам дальным.

Пушкин, Погасло дневное светило...

Хвалу стране прочел я дальной...

Пушкин, Фонтану бахчисарайского дворца.

Напоминают мне оне

Другую жизнь и берег дальный.

Пушкин, Не пой, красавица...

Что ищет он в стране далекой.

Лермонтов, Парус.

Со стороны прибыв далекой.

Крылов, Орел и Крот.

И т. д., и т. д.

которое переводит лаконичное немецкое *im Morgenland* и которое тоже в своем многословии напоминает сказочный стиль. Поэтому перевод в одном из черновых вариантов *далекой восточной земле* несомненно не только дословнее, но и точнее передает сухое и небогатое ассоциациями *fern im Morgenland* оригинала, хотя и в этом варианте превращение самостоятельного немецкого *fern* в эпитет *далекая к восточной земле* ослабляет впечатление. Дело в том, что немецкое наречие *fern*, по-видимому, не имеет того романтического ореола, не вызывает тех сладких ощущений, которые связаны с русским *далекий* (а может быть, и с немецким прилагательным *fern*, ср. примеры у Heune, Deutsches Wörterbuch). Что касается окончательной лермонтовской редакции, то она, несомненно, сделана в эпическом, сказочном тоне и, по-видимому, совершенно сознательно создает благодушное настроение.

Что в последних двух стихах *trauert* передано через описательное глагольное выражение *грустна растет*, в этом нет, конечно, решительно ничего неправильного; но *грустить* — плохой перевод для *trauern*: в русской грусти много сладости, которой вовсе нет в немецком *trauern*. Heune („Deutsches Wörterbuch“) так объясняет слово *Trauer*: „tiefe Betrübniß um ein Unglück, niedergedrückte Gemütsstimmung“, а глагол *trauern*: „Trauer tragen, niedergedrückt sein“. Следовательно, опять мы видим ослабление впечатления, уничтожение трагической концепции оригинала.

Далее, хотя *schweigend* осталось без перевода не без некоторого основания (так как в *einsam und schweigend* нельзя не видеть *hen dia duoin*⁸ и так как одиночество, конечно, подразумевает молчание), однако в этом обеднении выражения опять-таки приходится видеть ослабление трагического, присущего немецкому оригиналу. В том же направлении действует и произвольная прибавка эпитета *прекрасная* к пальме, ничем не обоснованная в немецком тексте и усиливающая, как и сверкающая снегом ель, сказочность и поэтичность лермонтовских образов.

Перевод *auf brennender Felsenwand* через *на утесе горючем* вызывает, с одной стороны, сказочное впечатление этим фольклорным *горючий*, а с другой стороны, на много градусов ослабляет немецкое *brennend* — „пылающий“. Дело в том, что живое значение слова *горючий* — это „способный к горению, легко воспламеняющийся“. Употребляемое нами сочетание *горючие слезы* истолковывается иногда как *горькие слезы* (см. „Словарь русского языка АН“ 1895 г.), и лишь филологическое образование дает нам понимание слова *горючий* как „горячий, жаркий“. Наше естественное этимологическое чутье ведет нас скорее к глаголу *горевать, горюющий*, что, конечно, является лишь намечающейся Volksethymologie*,

* См. „Словарь русского языка АН“ 1895 г. под словом *горький*, где не упоминается ни глагол *гореть*, ни слово *горький* — *горючий* (Даль), но где приводится цитата из Пушкина: „побоялся я сделаться пьяницей с горя“, т. е. самым горьким пьяницей (Выстрел).

но что, однако, отнимает у слова всякую действительность. Едва ли это было иначе во времена Лермонтова. Во всяком случае ни „Русский словарь АН“ 1848 г., ни Даль не дают значения „горячий, жаркий“, которое появляется лишь у Грота в „Русском словаре АН“ 1895 г., но, очевидно, не как живое слово.

Далее, *utec*, как в общем, конечно, верный перевод немецкого *Felsenwand*, на самом деле уничтожает внутреннюю форму немецкого слова: *Wand*, как вторая часть сложного слова, применяется к абсолютно отвесным скалам (ср. *Eigerwand* в Швейцарии, недалеко от Интерлакена). Таким образом, Гейне говорит о неприступной, накаляемой солнцем скале, и весь образ *Palme, die auf brennender Felsenwand trauert* выясняется, как образ удрученной женщины, находящейся в тяжелом заточении, в тяжелой неволе. Что в немецком тексте центр тяжести лежит именно в словах *auf brennender Felsenwand*, явствует из того, что эти слова поставлены после глагола вопреки формальному правилу, которое требовало бы следующего порядка слов: *die auf brennender Felsenwand einsam und schweigend trauert*. Но еще больше явствует это из ритмики: дело в том, что синтаксически тесно связанные *trauert* и *auf brennender Felsenwand* разорваны стихоразделом и что получившееся таким образом enjambement выделяет оба элемента, особенно последний, который заключает и все стихотворение. А что Лермонтову не подходила внутренняя форма оригинала, видно из того, что на жаркой скале и на дикой и знойной стене своих черновых набросков он заменил на утесе горючем в окончательной редакции.

Из проделанного лингвистического анализа следует совершенно недвусмысленно, что сущность стихотворения Гейне сводится к тому, что некий мужчина, скованный по рукам и по ногам внешними обстоятельствами, стремится к недоступной для него и тоже находящейся в тяжелом заточении женщине, а сущность стихотворения Лермонтова — к тому, что некое одинокое существо благодушно мечтает о каком-то далеком, прекрасном и тоже одиноком существе.

Как неспециалист, я не буду углубляться в историко-литературный анализ идей обоих стихотворений, однако не могу не высказать некоторых соображений. Пьеса Гейне обыкновенно относится вместе со всеми стихотворениями „*Lyrisches Intermezzo*“, куда оно входит, к любовной лирике, навеянной несчастной любовью Гейне к его кузине Амалии. Однако в отличие от более раннего цикла „*Junge Leiden*“, где эта любовь отражается в более личной форме, „*Lyrisches Intermezzo*“ можно характеризовать как художественное претворение личного в более общее и объективное (см. Jules Legras, *Henri Heine poète*, 1897, p. 34—35). Особенно справедливо это по отношению к нашему стихотворению, так как в нем пальма изображена страдающей, что никак не отвечало реальному положению вещей. Следовательно, его идею никак

нельзя рассматривать просто как мотив несчастной любви вообще, а скорее надо видеть в нем трагическую идею роковой скованности, не дающей возможности соединиться любящим сердцам, „*expression très générale et très vague de l'amour impossible et lointain*“, как говорит Jules Legras (указ. соч., стр. 41).

Остается для меня неясным, на чем лежит акцент — на идее ли рока, принципиально осуждающего человека на одиночество, или на идее скованности, допускающей в конце концов и освобождение от оков. Первая является одним из мотивов романтизма, которому Гейне отдал дань в своей молодости. По-видимому, так и воспринималось это стихотворение современниками и ближайшим потомством, и, вероятно, в связи с этим стоит тот любопытный факт, что до 1885 г. оно 77 раз положено на музыку. На русский язык оно было переведено 39 раз, даже если не считать пародий*. Сам Гейне, однако, несомненно резко осмеял эту идею в своем „*Der weiße Elefant*“, а в более мягкой форме, может быть, и в „*Lotosblume*“, где, впрочем, доминируют иные мотивы**.

Идея скованности несомненно налицо в нашем стихотворении, но насколько с ней связывается социальный протест, остается для меня также неясным. Увлеченный контрастом с Лермонтовым, который тщательно, как мы видели, вытравливал в своем переводе все трагическое, я долгое время видел в пьесе Гейне настоящий революционный пафос. Но само собой разумеется, что контраст, убедительный для Лермонтова, ничего не говорит о Гейне: „Сосну“ Гейне нельзя рассматривать, как противоположение „Сосне“ Лермонтова, и самое большее, что можно увидеть у Гейне, — это потенциальную революционность, потенциальный протест против социального строя, не до конца осознанный, не получивший поэтому ясного выражения, однако обусловивший определенное восприятие вещей. Этот вопрос требует во всяком случае дальнейшей работы, от которой, как неспециалист, я вынужден отказаться. Я даже не мог воспользоваться любезным указанием проф. М. П. Алексеева на то, что образ Гейне заимствован не из талмуда, так как книги Karpeles „*Heine und das Judentum*“ (1890), откуда почерпнуто это указание, не нашлось в Ленинграде.

Возвращаясь к Лермонтову, мы видим, таким образом, что мотив скованности человека отсутствует у него совершенно. Мотив одиночества, столь свойственный лермонтовской поэзии, несомненно налицо, но и он не развит и во всяком случае не стоит на первом плане; зато появляется совершенно новый мотив: мечтания о чем-то далеком и прекрасном, но абсолютно и принципиально недоступном, мечтания, которые в силу этого лишены всякой действительности. Мотив этот широко распространен в поэзии Лермонтова. Достаточно

* Этими интересными сведениями я обязан профессору М. П. Алексееву, у которого имеется соответственная библиография.

** На эти стихотворения обратил мое внимание мой бывший слушатель, автор прекрасной книги о переводе — А. В. Федоров.

указать на стихотворение „Ангел“, где он выступает в чистом виде. Но он постоянно звучит в разных вариациях в самых разнообразных вещах: он доминирует в стихотворении „Небо и звезды“, он слышится во фразе „Лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он“ из знаменитого стихотворения „Когда волнуется желтеющая нива“ и т. д. Различные следствия из этого же мотива разворачиваются по-разному и в „И скучно и грустно...“, и в „Парусе“, и в „Тучах“.

Как бы то ни было, сознательный отход Лермонтова от оригинала в идеологическом отношении представляется мне на основании сравнительного лингвистического анализа обеих пьес несомненным; в частности, замена трагического тона оригинала красивой романтикой кажется мне тоже совершенно очевидной. В связи с этим я хочу еще обратить внимание на некоторые стилистические черты обеих вещей и на их ритмику.

Стихотворение Гейне отличается крайней сдержанностью языка: ни одного лишнего слова, отчего каждое слово приобретает удивительную значительность, с чем стоят в связи и некоторые данные ритмики (о чем см. ниже).

У Лермонтова, наоборот, мы видим накопление эпитетов, которые отсутствуют в оригинале: *дикий, качаясь, сыпучий, далекий, горячий*. Хотя слову *далекий* и отвечает в оригинале слово *fern*, однако у Гейне оно не эпитет (ср. стр. 102). Слову *горячий* отвечает немецкое *brennend*; однако это последнее опять-таки не эпитет, а очень важное определение, тогда как Лермонтов сделал из него традиционный фольклорный эпитет. Наконец, немецкое *Morgenland* Лермонтов развернул в целую строку *в том крае, где солнца восход*, в которой, конечно, слова *где солнца восход* не эпитет, но дают то же впечатление, что и накопление эпитетов, подчеркивая в едином представлении целый ряд его признаков. Дюшен (указ. соч., стр. 240) видел недостаток в этом накоплении эпитетов, и это верно с точки зрения перевода, но зато совершенно неверно с точки зрения оригинального стихотворения Лермонтова, каковым надо считать его „Сосну“. Действительно, именно эти эпитеты и создают то сказочное очарование, которое пленяет нас в стихотворении в связи с его основной темой о сказочном прекрасном „далеко“.

В связи с этим стоит и ритмика. В самом деле, расставим по правилам грамматики, которые, к сожалению, впрочем, в большинстве случаев отсутствуют в грамматиках, ударения и синтагмические границы в стихотворении Гейне.

II	(2 + 6)	4	∪ " ∪ ' ∪ * " ∪	A 7 α +
III	(2 + 5 + 7)	3	∪ " ∪ ∪ " ∪ "	B 7 δ a

* Нет ударения, как на односложном, формальном (по функции) глаголе в личной форме.

III	(2 + 5 + 7)	3	∪ " ∪ ∪ " ∪ " ∪	B 8 δ +
III	(2 + 5 + 7)	4	∪ " ∪ ∪ " ∪ "	B 7 δ a
II	(2 + 6)	2	∪ " ∪ ∪ ∪ " ∪	A 7 α ₁ +
II	(2 + 4)	2	∪ " ∪ " ∪ '	A 6 α ₂ b
II	(4 + 6)	5	= * ∪ " ∪ " ∪ =	A 7 γ +
II	(2 + 5)	0	∪ " ∪ ∪ " ∪ '	B 7 δ ₁ b

Объяснение знаков. Римские цифры обозначают число главных ударений в строке; арабские цифры в скобках — номера слогов, на которых стоят эти ударения. Арабские цифры без скобок обозначают номер слога, после которого стоит синтагмический раздел. Знак = обозначает enjambement. Большие буквы обозначают общий метрический характер строки, а цифры рядом — число слогов в строке. Греческие буквы обозначают ритмические вариации строки. Маленькие латинские буквы начала алфавита обозначают мужские рифмы, ^hконец алфавита — женские рифмы; плюсы (+) — женские окончания без рифмы; минусы (—) — мужские окончания без рифмы.

Мы видим, что первая строфа характеризуется трехударными строками, за исключением первой, вступительной и потому несколько замедленной по темпу мысли. Вторая строфа характеризуется двухударными строками в связи с некоторым замедлением этого темпа, семантически обусловленным глаголом *träumt* — „мечтает“. Если 7-ю строку читать с тремя ударами, что, вообще говоря, конечно, более чем естественно, то ритмическое ускорение будет, по-моему, внутренне не мотивировано. Во всяком случае переход к совсем иной метрической схеме, притом — единожды появляющейся во всем стихотворении, может быть оправдан семантически.

Особенно важно подчеркнуть, что все знаменательные слова носят на себе полновесное, не скрадывающееся во фразе ударение, благодаря чему каждое слово как молотком забивается в голову слушающего. Число таких полновесных ударных слогов по отношению к общему числу слогов составляет около 35% (а если включить в число ударных слогов и слоги, имеющие второстепенное ударение, то оно возрастет до 41%).

Из рассмотрения схемы явствует, что, в стихотворении Гейне абсолютно отсутствуют какие-либо правильно чередующиеся от строки к строке ритмические элементы, кроме окончаний и рифм, причем и здесь рифмами снабжены лишь четные строки. Это разнообразие ритмов и абсолютное отсутствие монотонности содействует четкому восприятию содержания.

* Мне кажется, что *hen dia duoin* (ср. выше) может читаться с одним ударением на *schweigend*, что облегчается тем обстоятельством, что в слове *einsam* имеется тяжелый суффикс с долгим гласным и что благодаря этому слово это легко может читаться *schwebend*, но безударно. Если я неправ, то стихотворение получит три ударения, а его аннотация примет следующий вид:

III (1 + 4 + 6) 5 = C 7 γ +

Расставим ударения и синтагмические границы у Лермонтова. Но для этого сначала надо решить вопрос, как надо читать: *на се́вере д́иком* или *на севере д́иком*, *сто́ит оди́око* или *стоит оди́око* и т. д. Вопрос очень трудный, так как оба чтения синтаксически допустимы. Не забудем, что *на голой верши́не, со́лнца восход, прекра́сная па́льма* (если не говорить о логическом ударении) можно читать только на один манер. При разрешении этого вопроса надо исходить из того, что *снег сыпúчий, пустыня да́лёкая, утес горю́чий* являются готовыми сочетаниями, а потому не могут быть делимы. Соответственно надо трактовать, конечно, и *на севере д́иком*. Что касается *стоит оди́око*, то не надо забывать, что здесь слово *стоит*, как было сказано выше, является формальным глаголом.

И дремлет качаясь может читаться разное, в зависимости от того, чем будет *качаясь* — наречием или деепричастием (ср. *сидит молча* или *сидит, молча*). Полагаю, что сомнения не может быть в том, что здесь мы имеем дело с наречием: деепричастие вызвало бы чрезмерную реальность образа и слишком большое замедление в его развитии. *Одета как ризой*, конечно, не делится на две части: ведь такие сочетания, как *ржет как лошадь, спит как сурок* и т. п., по-моему, ничем не отличаются от таких, как *ходить на цыпочках, реветь белугою* и т. п., где никому в голову не придет ставить запятую. Что касается слова *она* в том же стихе, то постпозитивное положение местоимений делает их энклитическими или почти энклитическими (ср. *он ходит* и *ходит он*). То же надо сказать и про местоименное наречие *всё* (ср. *ходит все кругом да около*). Поэтому и *снится ей все*, а не *снится ей всё*. *Одна и грустна* с и объединительным, как *hen dia duoín*, — читается, конечно, *одна и грустна́*, а не *одна́ и грустна́* (ср. выше рассуждения о *einsam und schweigend*). *Прекрасная пальма растёт* является психологическим сказуемым к предшествующему, а потому *пальма* получает логическое ударение.

Вот схема:

II	(5 + 11)	6	υ' υ υ υ " υ υ' υ υ υ " υ	V	12	α_1	x
II	(5 + 8)	6	υ' υ υ υ " υ υ "	V	8	α_2	a
II	(5 + 11)	6	υ' υ υ υ " υ υ' υ υ υ " υ	V	12	α_1	y
I	(5)	0	υ' υ υ υ " υ υ υ'	V	8	α_1	a
II	(2 + 11)	5	υ " υ υ υ' υ υ υ' υ υ " υ	V	12	α_3	x
II	(2 + 4)	2	υ " υ υ " υ υ υ'	V	8	α_4	b
II	(5 + 11)	5	υ' υ υ υ " υ υ υ' υ υ " υ	V	12	α_1	y
I	(5)	0	υ' υ υ υ " υ υ υ'	V	8	α_1	b

Примечание. В русском сильные и слабые ударения функционально отличаются от немецких (где на самом деле надо различать даже три степени: третья степень — сверхсильное или логическое ударение), так как в русском сильные ударения являются синтагмическими, всегда, конечно, совпадающими со словесными, но их усиливающими (логические ударения, по-видимому, являются в русском тоже просто сильными, хотя этот вопрос требует еще доработки).

Если сосчитать число всех ударенных слогов по отношению к общему числу слогов стихотворения, то их получится 35% , так что число словесных ударений процентно одинаково с немецким. Однако если сосчитать лишь сильные ударения, то их получится всего 17% . Таким образом, в противоположность немецкому, далеко не все значащие слова оказываются сильноударенными, и внимание слушателя, скользя по менее ударным словам, несколько рассеивается, и содержание проигрывает в своей четкости, что целиком и отвечает лермонтовскому мотиву мечтаний о сказочном прекрасном „далеко“.

Все строки стихотворения являются двухударными, кроме 4-й и 8-й, которые имеют по одному удару и являются, таким образом, своего рода кадансами строф.

Из подробного рассмотрения схемы русского стихотворения явствует, что хотя оно и обнаруживает некоторое разнообразие ритмов, но гораздо меньшее, чем немецкое стихотворение: уже одно то, что оно все написано амфибрахием, делает его монотонным, так как этот размер в сущности почти не может иметь особых вариаций. Но самое главное то, что все ритмические элементы, кроме места главных ударов и цезур, чередуются совершенно правильно, отчего получается тот волнообразный, несколько монотонный ритм*, который оправдывает, по-моему, прибавку Лермонтовым слова *качаясь* и который, несколько усыпляя сознание, погружает мысль в очаровательный мир грез и красивых сказочных образов, в полном соответствии с основной идеей стихотворения — сладкие мечты о прекрасном „далеко“.

В заключение не могу не отметить, что число звуков *p* (*r*) во второй строфе немецкого стихотворения поразительным образом доходит до 9 по сравнению с 5 русского стихотворения (в первых строфах их по 4). Едва ли это случайно. Мне кажется, что это обилие *p* усиливает трагическое впечатление роковой скованности человека в стихотворении Гейне.

* Этот ясно чувствующийся ритм часто даже заставляет читающего расставлять главное ударение вопреки смыслу по преобладающим типам α_1 и α_2 во всем стихотворении.





О НОРМАХ ОБРАЗЦОВОГО РУССКОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ

[„РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ“, 1936, № 5]

Мне уже неоднократно приходилось публично высказываться* о необходимости пересмотра кодекса наших орфоэпических норм, который совершенно устарел и не отвечает живой действительности, и я очень рад представившейся возможности, благодаря инициативе журнала „Русский язык в школе“, осветить основные принципы этого важного вопроса перед нашим учительством. А вопрос, действительно, очень важный: миллионы людей изучают русский литературный язык, миллионы людей, русских и нерусских, хотят говорить образцовым русским произношением, десятки тысяч учителей, специалистов и неспециалистов, учат их этому произношению, но никто по-настоящему не знает, как и чему надо учить и учиться.

Так называемое „московское произношение“, на которое до революции опиралась наша орфоэпия и, в частности, практика театров, было действительно живым произношением коренных московских дворянских и купеческих семейств, которому не учились, а которое всасывали, так сказать, с молоком матери. Москвичи, подобно мольеровскому мещанину во дворянстве, и не думали, что они говорят на образцовом русском языке: этот язык вместе с произношением усваивался каждым новым поколением от предшествовавшего совершенно бессознательно. И произношение это, которое вообще обыкновенно сильно отстает от всех прочих изменений в языке, было относительно устойчивым. Незначительный в прошлом приток населения в Москву полностью поглощался средой, новые люди целиком усваивали себе московскую норму.

Пролетарская революция в корне изменила состав московского населения. Новые миллионы, которые вобрала в себя пролетарская столица со всех концов Союза, принесли с собой свое, местное произношение. Это привело к тому, что старое московское произношение исчезло, и исчезло безвозвратно, так как дети даже „коренных“ москвичей, учась в общей школе, уже не говорят

* Назову хотя бы мое прошлогоднее устное выступление в педагогическом институте в Москве перед широкой аудиторией учителей, артистов и ученых-лингвистов (напечатано в № 3 журнала „Говорит СССР“ за 1936 г.).

так, как, может быть, говорят еще их родители; но я уверен, что и эти последние, будучи втянуты в общий жизненный поток, в той или другой мере забыли старые нормы. Старое московское произношение сохраняется лишь на страницах орфоэпических учебников и отчасти на сцене, где за отсутствием новой четкой нормы еще довольно крепко держатся старой традиции.

Новая, социалистическая Москва, а вместе с нею и весь Советский Союз строят новую жизнь, а вместе с нею и новый русский литературный язык, и выковывают новое образцовое русское произношение⁹. Это новое произношение формируют прежде всего представители разнообразнейших русских говоров, окающих и акающих, ёкающих и йкающих, вологодских и смоленских, псковских и донских, сибирских и поволжских и „старого московского говора“ в том числе. Участие в этом языковом строительстве принимают и многие представители братских народов и народностей, входящих в наш великий Союз и в той или иной степени приобщающихся к русскому языку. Многие из них приезжают в Москву, многие в ней остаются, на смену уезжающим приезжают другие. Многие из них говорят и по-русски и тем неминуемо принимают то или другое участие в создании норм русского литературного языка и произношения.

Это творчество черпает материал, конечно, не из ничего: для языка в целом мы имеем неисчерпаемые сокровища: прежде всего произведения наших вождей, памятники классической литературы и лучшие образцы современной литературы. С произношением дело обстоит хуже: оно текуче и пока фиксируется лишь в совершенно ничтожном количестве на пластинках патефона. Единственными источниками для строительства в области произношения являются, во-первых, произношения культурных центров Союза и, конечно, прежде всего новой, социалистической Москвы; во-вторых, хотя лишь отчасти, те принципы, которые лежат в основе нашей письменности; в-третьих, некоторые произносительные литературные традиции, как например отсутствие неударяемого *о*, смычное произношение *з* и кое-что другое.

Надо признать, что произношение культурных центров далеко еще не выкристаллизовалось в своих деталях, однако и теперь видны все же некоторые его основные черты.

Прежде всего совершенно очевидно, что в произношении будущего будет отмечено все чересчур местное, московское или ленинградское, орловское или новгородское, не говоря уже о разных отличительных чертах других языков, вроде кавказского или среднеазиатского „гортанного“ *х*, украинского *з*, татарского *ы* и т. д., и т. п.

Второе, что является несомненным,—это стремление опереться на что-либо твердое и для всех очевидное. Ясно, что таким твердым и очевидным является письмо, а потому не менее ясно и то, что будущее русское образцовое произношение пойдет по пути сближения с письмом. Из этого, между прочим, вытекают неко-

торые обязательства и для письма; если мы не хотим, чтобы люди произносили *Доде* и *Гете* с мягкими *д* и *т*, и с *ѣ* в соответствии с немецким *ö*, то мы и должны писать *Додэ* и *Гетэ*, а не *Доде* и *Гете**.

Есть и третье положение, хотя и менее очевидное, чем первые два: это упрощение чересчур сложных правил. Предударное *а*, например, будет, конечно, произноситься более или менее, как *а*, независимо от предшествующего согласного: при *шалость* — *шалун*, а не *шылун* (как произносили раньше в Москве). Само собой разумеется, что при сознательном регулировании всех этих вопросов надо будет следить за тем, чтобы, идя по пути упрощения, выкинуть только то, что с выразительной точки зрения абсолютно безразлично, и что, таким образом, должно было бы рано или поздно отмереть само собой. Различия же, например, простого и двойного *н*, как употребляемого с различительной целью (ср. *стенной* и *стенной*), не может быть уничтожено, хотя оно зачастую и представляет большие затруднения даже для русских.

Конечно, этими тремя принципами дело не исчерпывается, но все остальное очень сложно и требует специального обсуждения.

Несомненно, однако, что мы не можем ждать, чтобы жизнь сама решила все вопросы: мы и здесь должны действовать сознательно и планомерно. И это тем более несомненно, что дело разворачивается вовсе не так уже стихийно: людей все же сознательно чему-то учат, частью в согласии со старой традицией, частью в соответствии с разными кустарными домыслами.

Поэтому необходимо прежде всего заняться регистрацией и изучением реального произношения культурных центров. Этим сознательно должны заниматься лингвисты и, более или менее интуитивно, актеры, задачей которых является ведь отображение жизни. Особенно важна роль этих последних, так как по существу вещей они могут и должны не просто отображать жизнь в ее бесконечном разнообразии, а ее типизировать, что особенно важно в деле орфоэпии.

Далее, необходимо оговориться об основных линиях развития русского произношения, причем самым большим вопросом явится вопрос об *э*кании и *й*кании. Принципиальное принятие *й*кающей ориентации грозило бы максимальными расхождениями с письмом и привело бы к большому разброду в орфографии, что едва ли целесообразно. Однако подробное обсуждение этого вопроса далеко выходит за рамки настоящей статьи, а потому пока я закончу ее лишь указанием на то, что самое главное сейчас — это осознание общественной важности и актуальности вопроса и тесной связи его с вопросами орфографии.

* См. об этом мою статью „Транскрипция иностранных слов и собственных имен и фамилий“ в „Трудах комиссии по русскому языку Академии наук СССР“, 1931.



СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

[„РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ“, 1939, № 4]

Литературный язык, которым мы пользуемся, — это подлинно драгоценнейшее наследие, полученное нами от предшествующих поколений, драгоценнейшее, ибо оно дает нам возможность выражать свои мысли и чувства и понимать их не только у наших современников, но и у великих людей минувших времен.

Более пристальное рассмотрение нам показывает, что наш литературный язык часто заставляет нас отливать наши мысли в формы, им заранее заготовленные, что он иногда шаблонизирует нашу мысль; но дальше оказывается, что он же дает материал для преодоления этих форм, для движения мысли вперед. Ищущим, настойчиво добивающимся он позволяет быть творцом выражения новой мысли, он позволяет дополнять и развивать себя. Таким образом, он является и нашим отцом и нашим детищем. Что же может быть ближе и дороже нам, чем „наш литературный язык“?*

Прежде чем я обращусь к поэту, который несравненно лучше меня выразит все эти мысли, позволю себе сделать небольшое отступление, которое как раз тоже будет некоторой иллюстрацией сказанного.

Может возникнуть вопрос, не лучше ли сказать: „Что может быть ближе и дороже нам, чем родной язык?“ И верно, слово *родной* — волшебное слово, оно затрагивает сокровеннейшие стороны нашего существа, оно согревает своим интимным теплом все то, к чему прикладывается в качестве эпитета: *родная страна, родной дом, родная мать, родной язык*. Понятие это лежит в основе всей нашей национальной политики, которая делает Союз наш подлинно союзом братских народов. И тем не менее я сознательно не употребил этого слова, заменив его лишенным всякой эмоциональной окраски словечком *наш* — „наш литературный язык“, — и сделал это потому, что для многих из нас русский литературный язык, быть может, и не родной язык, но язык, на котором мы привыкли думать, воспринимать чужие мысли и чувства и выражать свои, язык, общий у нас со всем коллективом граждан нашего братского Союза. Поэтому он *наш*, а это больше чем род-

* Из речи, произнесенной на научной сессии Ленинградского государственного университета по случаю 120-летия его существования.

ной; но я не могу кратко выразить тот пафос, то тепло, которое я хотел бы придать этому понятию, так как наш литературный язык не имеет еще для этого простых готовых средств. Что же, должны ли мы отвернуться от него в силу этого? Конечно, нет, так как без него мы немы. Должны ли мы перестать любить наш литературный язык, который не всегда поспевает за дерзаниями нашей мысли? Конечно, нет, так как только любящим его, т. е. в совершенстве владеющим им, открывает он свои возможности, открывает пути, на которых можно найти выражения, вполне адекватные новым мыслям и чувствам. Его надо любить и неустанно изучать в его совершенных образцах, но вместе с тем и бороться с ним, стремясь найти новые способы выражения новых мыслей.

Обо всем этом прекрасно говорит Валерий Брюсов в своем не очень известном стихотворении „Родной язык“. Вот оно:

Мой верный друг, мой враг коварный.
Мой царь, мой раб, родной язык.
Мои стихи — как дым алтарный.
Как вызов яростный — мой крик.
 Ты дал мечте безумной крылья,
 Мечту ты путами обвил.
 Меня спасал в часы бессилья
 И сокрушал избытком сил.
Как часто в тайне звуков странных
И в потаенном смысле слов
Я обретал напев неожиданных,
Овладевавших мной стихов.
 Но часто, радостью измучен
 Иль тихой упоен тоской,
 Я тщетно ждал, чтоб был созвучен
 С душой дрожащей — отзвук твой.
Ты ждешь, подобен великану,
Я пред тобой склонен лицом,
И все ж бороться не устану
Я, как Израиль, с божеством.
 Нет грани моему упорству.
 Ты — в вечности, я — в кратких днях,
 Но все ж, как магу, мне покорствуй
 Иль обрати безумца в прах.
Твои богатства, по наследству,
Я, дерзкий, требую себе.
Призыв бросаю, — ты ответствуй,
Иду, — ты будь готов к борьбе!
 Но, побежден иль победитель,
 Равно паду я пред тобой:
 Ты — мститель мой, ты — мой спаситель,
 Твой мир — навек моя обитель,
 Твой голос — небо надо мной.

Но прежде чем заняться рассмотрением специально русского литературного языка, надо остановиться немного на выяснении природы литературного языка вообще. Всякое понятие лучше всего выясняется из противоположений, а всем кажется очевидным, что литературный язык прежде всего противопоставляется диалектам. И в общем это верно; однако я думаю, что есть противоположение более глубокое, которое в сущности и обуславливает те, которые кажутся очевидными. Это противоположение литературного и разговорного языков.

Надо прежде всего предостеречь от смешения литературного и письменного языков: всякий письменный язык будет, конечно, литературным в том смысле, какой я придаю этому термину, но литературный язык не обязательно должен быть письменным. Наиболее очевидным примером этого являются разные виды ораторской речи. Но сюда же, конечно, относится и всё так называемое народное творчество, будут ли это былины, или частушки, или сказки, или просто рассказы, анекдоты.

Если вдуматься глубже в суть вещей, то мы придем к заключению, что в основе литературного языка лежит монолог, рассказ, противопоставляемый диалогу — разговорной речи. Эта последняя состоит из взаимных реакций двух общающихся между собой индивидов, реакций нормально спонтанных, определяемых ситуацией или высказыванием собеседника. Диалог — это в сущности цепь реплик. Монолог — это уже организованная система облеченных в словесную форму мыслей, отнюдь не являющаяся репликой, а преднамеренным воздействием на окружающих. Всякий монолог есть литературное произведение в зачатке. Недаром монологу надо учить. В малокультурной среде только немногие, люди с тем или иным литературным дарованием, способны к монологу; большинство не в состоянии ничего связно рассказать. Все это можно наблюдать каждый день кругом себя; но не всегда это доходит до сознания. Я впервые обратил на это внимание при моих диалектологических штудиях*, и притом в среде со значительным школьным образованием, по-видимому, недостаточно, однако, устремленным на развитие монолога, т. е. попросту на умение рассказывать.

Очевидно, что структура реплик (диалога) и структура монолога (литературного языка) будут совершенно разные. Репликам абсолютно не свойственны сложные предложения, которые являются уделом лишь монолога. Зато в монологе обыкновенно не бывает неполных предложений, из которых нормально состоят все реплики. Кроме того, — и это собственно и является самым важным — репликам свойственны и всевозможные фонетические сокращения, и неожиданные формообразования, и непривычные словообразования, и странное на первый взгляд словоупотребление, и, наконец, всякие нарушения синтаксических норм.

* См. мое „Восточнолужицкое наречие“, Приложения, 1915, стр. 4, сноска.

В самом деле, кто в языке реплик, в быстром диалоге не наблюдал за собой таких вещей, как *драссте — драссте* вместо *здравствуйте*; *нет, туфлэй — нет* вместо *нет туфель*; *мой окны* вместо *мой окна*; *обезбáливатъ* вместо *обезбóливатъ*; *подгинатъ* вместо *подгибатъ*; *стережение твоих вещей* в смысле *охранение твоих вещей*; *я не позволю играть над собой* (контаминация *играть собой* и *издеваться над собой*); *это играет большое значение* (вместо *роль*) и т. п. Я привожу случаи, которые наблюдал, вероятно, каждый и нелингвист, но если заняться систематически регистрацией всех „оговорок“ и „обмолвок“, то можно записать такие перлы, про которые их авторы будут с ожесточением утверждать, что они никоим образом не могли сказать что-либо подобное. Все эти оговорки происходят лишь благодаря недостаточному контролю сознания при спонтанном диалоге. Причины же их лежат, с одной стороны, в стремлении к упрощению нашей речевой деятельности и во влиянии разных аналогий, а с другой — в стремлении как можно скорее найти наиболее адекватное выражение оттенку нашей мысли в данной ситуации: совершенно очевидно, что на упрек: *Чего ты не стерег моих вещей?*, ответ самый естественный будет: *Надоело мне это стережение твоих вещей.*

В монологической речи всего этого не бывает или бывает в гораздо меньшей степени: она протекает более в рамках традиционных форм, воспоминание о которых при полном контроле сознания является основным организующим началом нашей монологической речи.

Таким образом, литературная монологическая речь не дает отступлений от нормы или дает их крайне мало. Диалогическая же разговорная речь, наоборот, соткана из всяких изменений нормы. Можно сказать, что все изменения языка, которые потом проявляются и в монологической речи, куются и накапливаются в кузнице разговорной речи. И это вполне понятно: в диалоге, т. е. при коротких репликах, ситуация, жест, выражение лица, интонация — все это настолько помогает взаимопониманию, что слова и их формы перестают играть сколько-нибудь существенную роль в этом процессе, и речь легко сводится к одному словечку *того*, которое может обозначать, что угодно: *Да он, знаете, того; Он его и того* и т. д. В более или менее длинном монологе, т. е. при рассказе, это абсолютно невозможно, прежде всего так как отсутствуют ясные ситуации, а при известных обстоятельствах и жест, и выражение лица могут оказаться недейственными. Поэтому никакие отступления от нормы не страшны в разговорной речи; их в буквальном смысле никто не замечает — ни говорящий, ни слушающий. В монологической речи они немислимы.

И далее, в диалоге принимают участие обыкновенно два лица, чаще всего и прежде всего два так или иначе социально связанных между собой лица, которые, как мы говорим, понимают друг друга с полуслова. Монолог чаще всего адресуется к ряду лиц,

среди которых могут быть близкие и неблизкие, и вовсе чужие: все это лишает возможности рассчитывать на непосредственное понимание и заставляет прибегать к традиционным формам речи, к литературному языку, который — один для всех, своих и чужих, и который, таким образом, возвышается над всем этим разнообразием ситуаций и людей.

Из сказанного вытекает и всем понятное противоположение литературного языка и диалекта, с которого я начал (при этом надо иметь в виду, что диалекты могут быть местные, т. е. объединяющие людей географически, и социальные, т. е. объединяющие людей по профессии, классу и т. п.). Литературный язык — один для всех, своих и чужих*, тогда как диалект обслуживает только определенную группу людей.

В этом плане литературный язык уже не монолог, противопологаемый диалогу, это самостоятельный диалект, но особого типа, „наддиалектный диалект“, если можно так выразиться; это второй язык для всех говорящих на диалекте, но второй, который является первым по своему значению, по своей социальной роли. Есть люди, которые знают только литературный диалект, только этот второй язык. При нем образуется свой разговорный язык и даже языки.

Чем большее число диалектов объединяет данный литературный язык, тем традиционнее и неподвижнее должны быть его нормы. Он не может следовать за изменениями в разговорном языке того или другого диалекта, так как он тогда перестанет быть всем понятным, т. е. перестанет выполнять ту основную функцию, которую должен выполнять литературный язык и которая в сущности только и делает его литературным, т. е. общепринятым, а потому и общепонятным. Этим и объясняется тот факт, что мировые литературные языки сравнительно мало меняются в течение веков, несмотря на большие пертурбации, переживаемые коллективами, которые этими языками обслуживаются.

Чем большее число диалектов местных и особенно социальных¹⁰ объединяет данный литературный язык, или — что то же — чем дифференцированное общество, которое он обслуживает, тем сложнее его стилистическая структура, и этим он отличается как от литературного языка — монолога, так в принципе и от разговорного языка.

В обществах, знающих уже письменность, литературный язык прежде всего раздваивается на устный и письменный, что, конечно, может перекрещиваться и с другими делениями. Различия между этими разновидностями литературного языка определяются, с одной стороны, их разной функциональной направленностью, а с другой, однако, и чисто техническими причинами.

* Я оставляю в стороне вопрос о том, что литературный язык может стать орудием классовой борьбы в руках того или иного класса и обыкновенно им и становится. Вопрос этот важный и большой и совершенно вынадеет из рамок настоящей статьи.

В самом деле, в устной речи невозможны те сложные построения, которые характеризуют, например, немецкий письменный язык и которые для своего понимания требуют в конце фразы возможности возврата к их началу*.

В письменной же речи никак не могут быть переданы интонации живой речи и, в частности, так называемые логические ударения. Поэтому, если я желаю сообщить, что приходивший вчера вечером человек был Иван Иванович, я могу в устной речи сказать: *Иван Иванович приходил вчера вечером*, сделав логическое ударение на *Иван Иванович*; но написать так я не могу, так как в письменной речи это будет сообщение о факте прихода Ивана Ивановича вчера вечером. Чтобы выразить в письменной речи сообщение, что приходивший вчера вечером человек был Иван Иванович, я обязательно должен написать: *Вчера вечером приходил Иван Иванович*. Этот пример ясно показывает пропасть, разделяющую письменный литературный язык от устного; но он же показывает еще большую пропасть, разделяющую литературный язык, который чаще всего бывает все же письменным, от разговорного: в этом последнем интонация, логическое ударение являются едва ли не основными выразительными средствами, чего по существу вещей не может быть в письменном языке**. Из этого вытекает и практическое правило поведения: не переносить синтаксических форм разговорной речи в письменную, а если делать это, то лишь с большой осторожностью.

Оставив для простоты устный литературный язык в стороне, перейдем к разным формам письменного языка. Здесь найдем прежде всего две большие группы его разновидностей: разные формы языка художественной литературы и разные формы делового языка. Обращаясь к последним, мы видим тут канцелярский язык, или стиль, язык законов, научный язык, эпистолярный стиль, переходящий в том смысле, как обыкновенно употребляют этот термин, в формы художественного языка, и другие. Я назвал разновидности, наиболее осознанные среди лингвистов; на самом деле их очень много — достаточно указать на медицинскую разновидность, которую все легко себе могут представить и которая имеет даже свой разговорный язык.

Можно сказать — и многие лингвисты так и думают, — что все эти разновидности в сущности не нужны и что лучше было бы, если бы все писалось на некотором общем языке. Особенно

* Устный язык, правда, вырабатывает для преодоления этого затруднения особый тип речи — речь периодическую, которая благодаря своему ритму позволяет держать в памяти все элементы сложного построения. Совершенно недостижимый образец искусства в этом направлении мы видим у Bossuet в его знаменитых „Oraisons funèbres“.

** Поскольку письменный язык всегда основан в конечном счете на устном, постольку и интонации, как вторичный момент, связанный с синтаксическими формами, не чужды письменному языку, особенно если находят себе выражение в знаках препинания.

склонны люди это думать о канцелярском стиле — термин, который приобрел даже некоторое неодобрительное значение. Конечно, во всех этих разновидностях существуют бесполезные пережитки вроде, например, архаического *оний* канцелярского стиля, но в основном каждая разновидность вызывается к жизни функциональной целесообразностью. Так, основная разновидность канцелярского стиля имеет своей задачей представить все обстоятельства дела во всех их логических взаимоотношениях вместе с выводом из них в одном целом. Отсюда вытекает культура сложных предложений по способу подчинения в канцелярском стиле. И в самом деле, подобным образом хорошо построенные предложения дают возможность читателю все сразу понять и сразу же принять соответствующее решение. Если изложить содержание такого сложного предложения в виде независимых друг от друга элементов, то читателю потребуется значительное количество времени и энергии на то, чтобы свести эти элементы в единое логическое целое и сделать соответствующие выводы.

Язык законов требует прежде всего точности и невозможности каких-либо кривотолков; быстрота понимания не является уже в таком случае исключительно важной, так как заинтересованный человек безо всякого понукания прочтет всякую статью закона и два и три раза.

Зато язык прокламаций, имеющий в виду широкие народные массы, должен схватываться на лету, должен бить в одну точку и не размениваться на мелочи и оговорки — все это тоже находит свое языковое выражение.

Научный язык имеет свою специфику: строгость в выборе терминов, которые не должны допускать никаких двусмысленностей.

Эпистолярный стиль имеет множество вариантов в зависимости от социальных взаимоотношений корреспондентов. Эти разновидности были всегда так очевидны, что в прежние времена составлялись особые руководства для писания писем, называвшиеся „письмовниками“.

Язык художественной литературы имеет, конечно, гораздо больше вариаций, чем деловой язык, но они не так очевидны и во всяком случае не так легко классифицируются. Но главное, что они имеют совершенно иную направленность: они должны рисовать все то разнообразие разговорных, социальных и отчасти и географических диалектов, которые объединяет данный литературный язык. Через язык рисуется та социальная среда, к которой принадлежат действующие лица. При этом все дело в том, что диалекты вводятся в ткань литературных произведений, конечно, не полностью, а лишь в очень немногих элементах, являющихся как бы условными намеками на данные диалекты*.

* Правда, в некоторых литературных языках, как например древнеиндийском, намеки эти разрастаются в целые системы, которые называются „драматическими пракритами“ и которые выводятся из общего языка на основании определенных правил.

Эти элементы должны быть общепонятны, но входят в литературный язык как особый слой, характеризующий тот или другой диалект или даже язык. Украинские *батько* в смысле отец, *жинка* в смысле жена и многое другое входят в русский литературный язык как украинизмы, но *выдання* — издание, *хвылына* — минута, *пыка* — рожь, морда, *рожа* — роза не войдут в русский литературный язык, пока тем или другим способом не станут общепонятны.

Если начать со способов изображения географически разной среды, то можно вспомнить, что мы говорим, например, о *деревнях* у русских, о *хуторах* на Украине, об *аулах* на Кавказе, о *кишлаках* в Средней Азии, о *заимках* в Сибири.

Нужно заметить, что все эти условные обозначения могут быть очень неточны. Крайним примером такой неточности и условности является французское обозначение всех восточных народов словом *tartare*.

Далее, например, Украина и украинский язык изображаются, кроме вышеуказанных *батько* и *жинка*, посредством слов *хата* вместо изба, *жито* вместо рожь, *парубок* вместо парень, *дивчина* вместо девушка, *брехать* вместо лаять, в прежние времена еще и посредством *горелка* (или *горилка*) вместо водка, *гопак* вместо казачок и т. д. Для характеристики Средней Азии служат, кроме *кишлака* в смысле деревня, *паранджа* (которой отвечает *чадра* на Кавказе), *бай* в смысле кулак, *декханин* в смысле крестьянин, *арык* в смысле ирригационный канал и т. д. *

Все эти примеры взяты наудачу и вовсе не имеют целью нарисовать сколько-нибудь полную картину в этом направлении. Любопытно только отметить, что в литературном языке почти что нет способов локализовать точнее русские крестьянские диалекты; по-видимому, здесь превалирует социальная точка зрения. Так называемые областные слова, в значительном количестве вошедшие в русский литературный язык, имеют целью характеризовать действующих лиц как крестьян: таковы *зипун* в смысле кафтан, пальто, *панева* в смысле юбка, *рушник* (ручное полотенце), *зимник* в смысле санный путь, *избоина* в смысле жмыхи, *редина*, *реднина* в смысле редкая ткань, *рядно* в смысле грубый холст и т. д. Сюда же, может быть, относятся и такие слова, как *баловать*, *пошаливать* в смысле грабить, *играть свадьбу* в смысле справлять свадьбу и т. п. Такие слова являются переходными между словами специфически крестьянскими и словами, которые получили в нашей лексикографии название просторечных, т. е. характеризующих людей, не вполне овладевших литературным языком. Надо, впрочем, отметить, что элементы просторечия часто в большом ходу в разговорном языке людей

* Конечно, русский язык не объединяет ни узбекского, ни украинского, ни кавказских языков; но поскольку носители всех этих языков живут одной жизнью с русскими, внутри нашего братского союза народов, постольку взаимодействие между всеми этими языками и русским языком несомненно.

и владеющих литературной речью. Таковы: *авось, небось, кажись, бордовый* (цвет бордо), *боязно, ржа* * (ржавчина) и др.

В таком же плане можно говорить о слое фабричных слов в литературном языке, о слое школьных слов и о многих, многих других слоях.

Особо стоят три, если не четыре соотносительных слоя слов — торжественный, нейтральный и фамильярный, к которым можно прибавить и четвертый — вульгарный **. Их иллюстрировать можно, например, следующими рядами: *лик, лицо, морда, рожка; вкушать, есть, уплетать, лопать* или *жрать* ***.

Совершенно особо стоит стихотворный язык, и не с точки зрения его собственно поэтической функции, а с узколингвистической: он традиционно допускает такие слова, которые вовсе невозможны в обыкновенной речи, как, например, *хладный* вместо *холодный*, *пламень* вместо *пламя* и многое другое.

Еще более особо стоит язык драмы — своеобразный продукт контаминации разговорного и литературного языков.

В заключение этого отдела я должен сказать, что, к нашему великому стыду, многое здесь для нас еще неясно. Русским филологам предстоит еще большая работа по созданию настоящей полной стилистики русского литературного языка. В этой стилистике русский литературный язык должен быть представлен в виде концентрических кругов — основного и целого ряда дополнительных, каждый из которых должен заключать в себе обозначения (поскольку они имеются) тех же понятий, что и в основном круге, но с тем или другим дополнительным оттенком, а также обозначения таких понятий, которых нет в основном круге, но которые имеют данный дополнительный оттенок.

Из всего сказанного ясно, что развитой литературный язык представляет собой весьма сложную систему более или менее синонимичных средств выражения, так или иначе соотнесенных друг с другом.

Теперь перейдем к вопросу, чем определяется сравнительное достоинство отдельных литературных языков. Не требует доказательств, что оно определяется прежде всего богатством наличных

* Слово, которое во времена Пушкина было литературным.

** На самом деле их, конечно, больше, и все дело оказывается гораздо сложнее, чем оно здесь представлено. Достаточно вспомнить о так называемых архаизмах, модернизмах, варваризмах и т. п.

*** *Кушать* относится сюда же, но занимает особое место рядом с *есть*. Оно, кстати сказать, является прекрасным примером сложности системы литературного языка: *кушать* неупотребительно ни в первых, ни в третьих лицах, а только в повелительном наклонении, где оно заменяет формы *ешь, ешьте*, являющиеся уже фамильярными, и с осторожностью в форме вежливости (2-е лицо мн. ч.), где оно легко может получать слащавый оттенок. Форма 3-го лица ед. числа может употребляться лишь как выражение нежности по отношению к ребенку. Что касается слов *трескать, шамать*, то они являются нелитературными, арготическими.

средств выражения как для общих, так и для частных понятий. Не так очевидно, что оно определяется также и богатством синонимии вообще. Однако нетрудно заметить, что синонимические ряды обыкновенно образуют систему оттенков одного и того же понятия, которые в известных условиях могут быть не безразличны. Возьмем, например, цикл слова *знаменитый* (в применении к человеку), с которым конкурируют *известный*, *выдающийся*, *замечательный* и *большой*. Все эти слова обозначают, конечно, одно и то же, но каждое подходит к одному и тому же понятию несколько с особой точки зрения: *большой ученый* является как бы объективной характеристикой; *выдающийся ученый* подчеркивает, может быть, то же, но в аспекте несколько более сравнительном; *замечательный ученый* говорит об особом интересе, который он возбуждает; *известный ученый* отмечает его популярность; то же делает и *знаменитый ученый*, но отличается от *известный ученый* превосходной степенью качества.

Подобным образом можно было бы разобрать ряд: *кое-кто из читателей*, *отдельные читатели*, *некоторые читатели* и множество других синонимических рядов.

Не так очевидна важность синонимов для обозначения новых понятий; однако понятно, что слово *танцовщик* — синоним слова *танцор*, *плясун*, отдифференцировавшийся от своих собратьев. Синонимы, таким образом, являются до некоторой степени арсеналом готовых обозначений для вновь возникающих понятий, дифференцирующихся из старых.

Еще менее очевидна техническая роль синонимов. Между тем только она дает свободу маневрирования в литературном языке. В самом деле: в первоначальном наброске моего доклада я написал: „Два так или иначе социально связанные друг с другом лица, которые, как мы говорим, понимают друг друга с полуслова“. Получилось нескладное повторение сходного выражения, но синоним *между собой* вместо *друг с другом* сразу спас положение.

Наконец, — и это едва ли не самое главное, хотя и наименее очевидное, — достоинство литературного языка определяется степенью сложности системы его средств выражения в том смысле, как это было мной нарисовано выше, т. е. богатством готовых возможностей выражать разнообразные оттенки.

Спрашивается, удовлетворяет ли наш русский литературный язык всем этим требованиям? Объективный ответ, мне кажется, дан нашей действительно великой литературой: раз можно было создать такую литературу, значит и язык наш стоит на высоте стоящих перед ним задач. А объективное подтверждение того, что наша литература подлинно великая, я вижу в том, что она не только национальная литература, но что она и интернациональна. Несмотря на трудности языка, она переводится и читается всем миром; мало того, она оказала то или другое несомненное влияние на ход мировой литературы, и это констатируем не мы, русские ученые, которых можно заподозрить в пристрастии, а это кон-

статируют иностранные ученые, которых, конечно, далеко не всех, скорее, и зачастую не без основания, можно заподозрить в обратном пристрастии.

Обращаясь к рассмотрению вопроса в лингвистическом аспекте, нужно констатировать прежде всего исторически сложившееся свойство русского языка — не чуждаться никаких иностранных заимствований, если только они идут на пользу дела.

Русский литературный язык начал с того, что усвоил себе через посредство средневекового международного языка Восточной Европы — восточной латыни, если так можно сказать, — языка, неудачно называемого церковнославянским, целый арсенал отвлеченных понятий, полученных от греков. *Благодать, благодарить, благословение, страсть, отвлечение, наитие, создание* и множество других подобных слов — все это греческое наследие в славянской оболочке. *Поэтика, риторика, библиотека* — все эти поздние слова имели своих греческих предшественников в виде *пиитики, риторики, вивлиофики* и т. п.

Но дело не только в этом греческом наследии, а в самой этой „восточной латыни“, в этом церковнославянском языке. Будучи, в противоположность настоящей латыни, в общем понятен всякому русскому человеку, так называемый церковнославянский язык обогатил русский не только багажом отвлеченных понятий и слов, но и бесконечными дублетами, которые сразу создали в русском языке сложную систему синонимических средств выражения: *он всему делу голова и он глава этого дела; в результате переворота горожане превратились в граждан; разница в годах заставила их жить розно; рожать детей — рождают высокие мысли* и т. п.

Если бы русский литературный язык не вырос в атмосфере церковнославянского, то немислимо было бы то замечательное стихотворение Пушкина „Пророк“, которым мы восторгаемся и до сих пор. Для того чтобы сделать мысль мою более конкретной, приведу текст этого стихотворения, отмечая все его стилистические „церковнославянизмы“, которые всеми так и воспринимаются, а потому и создают в языке четкую стилистическую перспективу; в примечании будут указаны исторические церковнославянизмы, точнее, все то, что вошло* в наш литературный язык не из обиходного, повседневного языка, а из старого книжного, но стилистически не воспринимается как что-то особенное, хотя и сохраняет некий своеобразный аромат, дающий возможность более тонко стилизовать нашу речь. Элементы, общие книжной и обиходной речи, остались неотмеченными, тем более, что они представляют собой подавляющее большинство**.

* Я имею в виду здесь не только и даже, точнее, не столько самые слова, сколько их отдельные значения.

** Ввиду того что у нас ничего не сделано по истории слов, т. е. по истории их значений, некоторые из моих предположений могут показаться не всегда достаточно обоснованными.

Духовной * жаждою * томим¹,
 В пустыне * мрачной * я влачил²,
 И шестикрылый² серафим
 На перепутье мне явился³;
Перстами, легкими как сон⁴,
 Моих зениц коснулся * он;
*Отверзлись вещи*⁵ зеницы,
 Как у испуганной орлицы.
 Моих ушей коснулся * он,
 И их наполнил⁶ шум⁷ и звон:
 И *внял* я неба * содроганье,
 И горний ангелов полет,
 И *гад* морских подводный⁸ ход,
 И *дольней* лозы⁹ прозябанье¹⁰.
 И он к *устам* моим приник,
 И вырвал грешный * мой язык,
 И *празднословный*, и лукавый¹¹,
 И жало мудрыя змеи¹²
 В *уста* замершие¹³ мои
 Вложил *десницею* кровавой.
 И он мне грудь рассек¹³ мечом,
 И сердце трепетное¹⁴ вынул,
 И уголь¹⁵, пылающий огнем,
 Во грудь *отверстую* водвинул¹⁶.
 Как труп, в пустыне * я лежал,
 И бога *глас* ко мне *воззвал*:
 „*Восстань*, пророк, и *виждь*, и *внемли*,
*Исполни*сь волею¹⁷ моей
 И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!“

Примечания.* — Исторические церковнославянизмы. ¹ Хотя слово *томить* хорошо известно народной речи, однако возможно, что словоупотребление данного контекста идет все же из книжного языка. ² Слово сделано по живому образцу (ср. *шестипалый*), однако образ, конечно, заимствован (церковнославянское *шестикрилъ*, греческое *hexa pterygos*). ³ Мне кажется, что глагол был сделан все же не в народном языке, хотя он имеется в большинстве славянских языков. ⁴ Образ, конечно, книжный и, думается, позднего происхождения. ⁵ Слово, вероятно, исконное и воспринимается нами как церковнославянизм с исторической точки зрения неправильно. ⁶ Несмотря на большую конкретность слова, подозреваю его книжное происхождение. ⁷ Почти что уверен в книжном происхождении значения. ⁸ Хотя слово сделано по существующим живым образцам, но все же оно мне кажется книжным и, вероятно, поздним. ⁹ Странное ударение должно вызывать на разные размышления. ¹⁰ Несмотря на наличие таких народных слов, как *зять*, слово это, конечно, книжное. ¹¹ Может быть, с этим оттенком значения слово надо считать вовсе не книжным. ¹² *Змея*, по-видимому, книжное слово по происхождению. ¹³ Слова как будто живого языка, но произносимые на книжный лад. ¹⁴ Я полагаю, что это книжное слово. ¹⁵ Хотя это просто старая форма слова, но я полагаю, что она все же книжного происхождения. ¹⁶ Само слово *двинул*, по-видимому, книжного происхождения. ¹⁷ Слово в этом значении, конечно, книжного происхождения.

Позднее, с XVI в., начинается влияние западных языков — латинского, немецкого, французского и, меньше, английского, голландского, итальянского, давших русскому языку всю массу интернациональных слов и богатую научную и техническую терминологию. XVIII в. протекает под знаком влияния французского языка, который формирует значение многих русских слов и оборотов. Нельзя не упомянуть и восточных языковых влияний, идущих, по-видимому, особенно из Средней Азии, бывшей в свое время передовой культурной страной.

Я не говорю об исконных русских элементах, которые, конечно, составили основу русского литературного языка, не говорю и о русских диалектах, которые все время давали богатый материал нашему литературному языку. Именно постоянная живая связь с живым народным языком, которую так пропагандировал наш замечательный лексикограф середины прошлого века В. И. Даль, и помогла нам переварить все то, что поглотил русский литературный язык за 1000 лет своего существования. Пушкинские просвиры помогли нам избавиться от мятлевских де Курдюковых, т. е. от бессмысленной иностранщины, и мы имеем в современном русском языке элементы весьма разнородные по происхождению, но спаянные в единую сложную систему. Эта разнородность и обусловила оригинальность нашей языковой культуры. Воспользовавшись всем багажом Запада, мы остались тем не менее самими собой именно благодаря этой черте всей нашей культуры.

Амальгама, которая получилась в русском языке, так органична, что она до сих пор далеко не всегда раскрыта в своем генезисе. Всякий понимает, что *глава, млечный, гражданин* — так называемые церковнославянские слова, что *балет, вальс, соус, мебель, авиатор* — французские слова, что *революция, конституция, абсолютный* — в конечном счете латинские слова, что *философия, грамматика, арифметика* — греческие слова и даже, что *балык, башлык, шашлык* — турецкие. Но никому не придет в голову искать в слове *влияние* французское *influence* или в выражении *На берегу (пустынных) волн* искать французское — и дальше латинское, а может быть и греческое — *au bord des ondes*, видеть в словах *вражеский, пустынный* церковнославянизмы.

Разнородность элементов дала основу нашей стилистике; старые книжные элементы продолжают свое бытие в торжественной, возвышенной речи, народные элементы образуют обыденную речь, утонченную зачастую совершенно незаметным для невооруженного глаза французским влиянием, а интернациональная терминология составляет ткань научного языка.

Мы видим, таким образом, что русский литературный язык действительно выковал себе очень сложную, а потому и отзывчивую систему выразительных средств. На это потребовались века, ибо только с Пушкина приобретает наш век свою полную гибкость и способность выражать все, что нужно. Зато теперь в на-

ших руках находится драгоценнейшее орудие, орудие мысли, орудие воздействия и взаимодействия, орудие, созданное трудами длинного ряда поколений.

Выше я говорил, что суть всякого литературного языка в его стабильности, в его традиционности. Когда чью-либо речь характеризуют словами: „Он говорит литературно“, — то это именно и значит, что он говорит согласно традиционным нормам.

Спрашивается, неужели же литературный язык не изменяется, неужели наш русский литературный язык является мертвым языком? Конечно, нет — такой язык нам был бы ненужен. Как же происходят изменения литературного языка? По-видимому, они происходят в основном двумя способами.

Прежде всего литературный язык, как и всякий язык вообще, должен называть все новые понятия, нарождающиеся в данном обществе. Конечно, поскольку литературный язык обыкновенно находится в руках того или иного господствующего класса, новые понятия и названия создаются применительно к его точке зрения или во всяком случае названия эти приобретают эмоциональную окраску, соответствующую этой точке зрения. В самом слове *мужик* ничего нет обидного для крестьянина, однако оно так насыщено презрительным к нему отношением, что по справедливости было изгнано из советского словаря. Само название новых понятий происходит путем заимствования названий из той среды, откуда идут и понятия. Такое происхождение новых слов вполне очевидно для названий вещей и предметов. Таковы: *чай, кофе, кумыс, паранджа, чесуча, автомобиль, аэроплан* и тысячи подобных слов. Но это справедливо и для новых слов вообще; однако это не всегда вполне ясно, так как заимствования могут происходить не только из чужих языков, но и из диалектов, как географических, так особенно из социальных.

Иногда может казаться, что то или другое слово возникло в недрах самого литературного языка, по правилам словообразования данного языка и из его материалов. Так можно думать про слово *самолет**. Однако я уверен, что слово это возникло в военном диалекте и взято оттуда. Я думаю вообще, что литературный язык меньше сам создает, чем берет созданное жизнью, а языковая жизнь бьется и кипит главным образом в разговорном языке отдельных человеческих группировок.

В этом плане и происходит постоянное взаимодействие литературного языка и диалектов. Если бы литературный язык оторвался от диалектов, от „почвы“, то он подобно Антею потерял бы всю свою силу и уподобился бы мертвому языку, каким является теперь латинский язык.

Далее, изменения в содержании понятий или в их оценке тоже находят себе то или иное отражение в языке. При этом обыкновенно происходят значительные пертурбации, ибо в языке вообще,

* Отношение этого слова к сказочному *ковер-самолет* мне не ясно.

а тем более в литературном языке, являющемся сложной системой, все настолько связано, что ничего нельзя затронуть, не приведя в движение целого ряда других колесиков. Несколько примеров наглядно покажут, в чем дело.

Как известно, слова *господин*, *госпожа* в функции титула, приставляемого к фамилии, а также слово *господа* в смысле обращения к собранию исчезли из обихода в силу тех ассоциаций, которые имели эти слова со словом *господин* в смысле барин. Заменой этих терминов явились слова *товарищ* и *гражданин*, причем, как это и естественно, слово *товарищ* первоначально употреблялось преимущественно в тех случаях, когда были основания думать, что обращаешься к единомышленникам. Постепенно употребление это несколько расширилось, но все же его происхождение и сохраняемая им благодаря этому задушевность мешают употреблять его по отношению к явно несимпатичному человеку: *гражданин Иванов*, скажем мы в таком случае. В результате слово *гражданин* в известных условиях неожиданно может получать неодобрительный оттенок, несмотря на возвышенный характер понятия, им выражаемого. Или вот другой случай. Мы, лингвисты, привыкли говорить *диалектические особенности*, *диалектическая дифференциация* и т. п., производя слово *диалектический* от *диалект*. Теперь, когда в нашей жизни приобрели большое значение такие сочетания, как *диалектическая философия*, *диалектический материализм*, когда мы говорим о *диалектической действительности* и т. п., получаются иногда двусмысленности в лингвистическом словоупотреблении, и мы, лингвисты, совершенно независимо один от другого ищем замены для нашего термина и колеблемся между *диалектными различиями* и *диалектальными различиями*. Еще пример: в старом языке можно было с полным успехом сказать: *большинство коммунистической молодежи настроено идеалистически* (т. е. искренно желает блага общества). В этой мысли нет ничего неподходящего и сейчас, но сказать так неудобно, ибо слово *идеалистический* слишком утвердилось в своем философском значении.

Все подобные процессы совершенно закономерны и необходимы. Только благодаря этим изменениям литературный язык и может выполнять свою функцию — выражать наши мысли и чувства, выражать нашу идеологию.

Другие пути изменения литературного языка идут, так сказать, снизу и происходят совершенно по другим мотивам. Каждый из нас, будучи носителем литературного языка, является в то же время и носителем того или иного диалекта, если не географического, то во всяком случае социального¹⁰ (а иногда и не одного, а нескольких); далее, каждый из нас, естественно, принимает активнейшее участие в разговорном языке, который играет основную роль в жизни человека. Отсюда со всей неопровержимостью следует, что изменения, вырабатывающиеся в разговорном языке, а также факты диалектов мы склонны переносить и в литератур-

ный язык. Литературный язык, как язык традиционный, сопротивляется этим новшествам, и между разговаривающим обывателем и тем же обывателем, носителем литературного языка, происходит вечная борьба. Трудно сказать, кто в этой борьбе оказывается победителем. Ибо, конечно, литературный язык принимает многое, навязываемое ему разговорным языком и диалектами, и таким образом и совершается его развитие, но лишь тогда, когда он приспособил новое к своей системе, подправив и переделав его соответственным образом. Но беда, если разнородное, бессистемное по существу новое зальет литературный язык и безнадежно испортит его систему выразительных средств, которые только потому и выразительны, что образуют систему. Тогда наступает конец литературному языку, и многовековую работу по его созданию приходится начинать сызнова, с нуля. Так было с латинским языком, когда на его основе стали создаваться современные романские языки.

Практические выводы из того, что сказано выше, и составляют смысл кампании, поднятой Горьким, о необходимости беречь русский литературный язык от засорения его диалектизмами и вульгаризмами. Я старался лишь подвести теоретический, лингвистический фундамент под его положения.

В заключение приведу два примера, которые покажут, о чем идет речь, на практике.


Разговорная речь наша стремится к распространению форм множественного числа на ударенное *-а* от известных категорий имен мужского рода. В этом нет ничего удивительного и даже нового: на глазах старшего поколения *профессора́, учителя́* и т. п. сменили более старые формы — *профессоры, учителя*. Однако нас, стариков, вполне привыкших к *профессора́, учителя́, образа́* и т. п., шокируют *инженера́, договора́, выбора́* и т. п. Около этих форм возникло немало дискуссий, в результате которых в руководящей прессе новые формы исчезли. Почему? Конечно, не ради наших стариковских ушей, а потому, что это разрушало выразительную систему русского литературного языка, который придает в словах, еще не перешедших окончательно ко множественному на *-а* ударенное, этим последним формам собирательный и даже презрительный оттенок: *инженеры́* и *инженера́*, как *хлебы́* и *хлеба́*, *образы́* и *образа́* и т. п.

Другой пример из области произношения. В беглом разговоре неударенное *е* звучит как более или менее неясное *и*: *несу, везу*, почти как *нису, визу*. Однако при более четком произношении *е* восстанавливается. Таков закон литературного языка. Но в некоторых южных говорах *и* остается на месте неударенного *е* при всяких обстоятельствах — эти говоры так и называются *йкающими*. И недаром Тургенев в своих „Певцах“ охарактеризовал орловское произношение мальчугана из конца рассказа тем, что заставил его кричать: „Тебя тятя высечь хочи-и-ит“. Пока Ленинград, старый Петербург, район „ёкальцев“, а не „йкальцев“,

играл не последнюю роль в судьбах литературного языка, дело не возбуждало никакого сомнения. Теперь, когда дирижерская палочка перешла к Москве, куда „икальцы“ стекаются в большом количестве, *е* литературного языка начинает подвергаться большой опасности. Раздавались уже голоса об утверждении буквы *и* даже в орфографии. Литературный язык должен сопротивляться этому натиску, так как подобное изменение грозило бы расстройством всей выразительной системы русского языка. Сейчас произношение *вечир, миту, плицать* и т. п. мы считаем диалектным, а тогда пришлось бы считать таковым *вечер, мету, плесать* или *плясать*, и в „Пиковой даме“ пришлось бы петь в интермедии *он не пришел плицать**. Дело, конечно, не в „Пиковой даме“, а вообще в пении, где пришлось бы все неудачные *е* заменять через *и*. Произошел бы полный переворот, но... без всякой идеологии, а потому я полагаю, что его и не будет.

* В прежние времена как будто учили петь *плесать*. Теперь я постоянно слышу *пля-асать*.





ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РУССКОМУ ЯЗЫКУ)

[„СОВЕТСКАЯ ПЕДАГОГИКА“, 1942, 3—4]

Позвольте в качестве мотто моей статьи выставить стихотворение Брюсова, которое как-то не сделалось популярным, хотя замечательно глубоко, по-моему, рисует сущность языка. Стихотворение это называется „Родной язык“, но при его восприятии в данном случае не следует останавливаться именно на этой идее, так как содержание стихотворения значительно шире, и не в этом, как мне кажется, его пафос. Впрочем, к заглавию мы еще вернемся в дальнейшем. Вот это стихотворение:

Мой верный друг, мой враг коварный.
Мой царь, мой раб, родной язык.
Мои стихи — как дым алтарный.
Как вызов яростный — мой крик.
 Ты дал мечте безумной крылья,
 Мечту ты путами обвил.
 Меня спасал в часы бессилья
 И сокрушал избытком сил.
Как часто в тайне звуков странных
И в потаенном смысле слов
Я обретал напев неожиданных,
Овладевавших мной стихов.
 Но часто, радостью измучен
 Иль тихой упоен тоской,
 Я тщетно ждал, чтоб был созвучен
 С душой дрожащей — отзвук твой.
Ты ждешь, подобен великану,
Я пред тобой склонен лицом,
И все ж бороться не устану
Я, как Израиль, с божеством.
 Нет грани моему упорству.
 Ты — в вечности, я — в кратких днях,
 Но все ж, как магу, мне покорствуй
 Иль обрати безумца в прах.

Твои богатства, по наследству,
Я, дерзкий, требую себе.
Призыв бросаю, — ты ответствуй,
Иду, — ты будь готов к борьбе.

Но, побежден иль победитель,
Равно паду я пред тобой:
Ты — мститель мой, ты — мой спаситель,
Твой мир — навек моя обитель,
Твой голос — небо надо мной.

Превращая поэзию в прозу, можно сказать, что дело идет здесь о языке как системе выразительных средств данного коллектива. Система эта, как система коллектива, является данной для каждого индивида: она выше его, и он не властен ничего изменить в ней. Эта система (т. е. наш язык) имеет громадный ассортимент готовых шаблонов, готовых фраз и даже готовых мыслей. И это естественно: человеку в процессе повседневного общения нет времени для особого языкотворчества, и он в громадном большинстве случаев пользуется готовыми фразами (на самом деле это не совсем так, и акт творчества в разной мере сопутствует всякому говорению и даже пониманию речи; но обсуждение этого вопроса завело бы нас слишком далеко). Что касается „готовых мыслей“, то, позволяя себе как лингвисту лингвистический каламбур, я склонен утверждать, что всякая готовая мысль есть отсутствие мысли как некоего динамического процесса. Язык наш часто помогает нам не думать; мало того, он зачастую тиранически мешает нам думать, ибо незаметно подсовывает нам понятия, не соответствующие больше действительности, и общие, трафаретные суждения, требующие еще диалектической переработки.

Возвращаюсь, однако, к Брюсову и его антитезе. Итак, наш язык со всей его системой выразительных средств обязателен для индивида — и это по той простой причине, что всякий человек, пытающийся ниспровергнуть эту систему, будет не понят коллективом. И однако эта самая система имеет богатые средства для выражения любого дерзания мысли, любых ее нюансов, вплоть до самых тонких — только надо уметь найти эти средства. Они не даны в готовом виде: готовы только шаблоны. Но они есть, и всякий ищущий находит их. Что каждый развитой литературный язык содержит в себе в этом смысле неограниченные возможности, явствует хотя бы из того, что многие писатели-революционеры могли высказать, и прекрасно высказать, самые революционные идеи на русском языке того времени, широко пользуясь всем богатством русского литературного языка. Язык — детище народа; в создании культуры нации, а следовательно, и ее языка, участвуют все общественные классы, хотя они и находятся в состоянии непрерывной борьбы. Найти способы для выражения новых мыслей — задача нелегкая и требующая высшего напряжения.

всех духовных сил. Поскольку способы эти заложены в том же языке, получается впечатление борьбы с ним. Отсюда и рождается у Брюсова этот образ борьбы с божеством, который так прекрасно рисует „муки творчества“, стремление облечь новые зарождающиеся мысли не в готовые, но в могущие быть понятыми коллективом формы. Этот образ в поэтической форме разрешает антитезу коллективного и индивидуального в языке в виде некоего диалектического единства.

В основе всякого литературного языка лежит накопленное веками „сокровище“ фраз, словосочетаний, комбинаций, фраз, изречений, пословиц и т. п. Но это „сокровище“ оказывается гораздо большим сокровищем, чем обыкновенно думают. Обычно его понимают как сумму накопленной данным народом мудрости; между тем в языковом материале, унаследованном от старших поколений, заложены в виде возможностей и линии речевого поведения будущих поколений, наследников этого сокровища. Грамматика и ее правила никем не сочиняются, они выводятся из унаследованного материала — говорящими бессознательно, а учеными, составляющими грамматические книги, максимально сознательно. Но если правила грамматики большей частью не требуют особенно большого материала, то правила употребления слов выводятся из всей совокупности читаемого в данном коллективе материала, т. е. из всей актуальной литературы.

Вот элементарная, но совершенно очевидная иллюстрация сказанного. Одна пожилая дама — это было очень давно, — говоря о женской эмансипации, как-то сказала при мне: „В наше время опасались, как бы молодые девушки не стали скакать в обрыв“, и все поняли, о чем идет речь, так как соответственное образное употребление слова *обрыв* подготовлено романом Гончарова. Возможно, что об этом романе была речь раньше, возможно, что и без этого все подумали именно об „Обрыве“ Гончарова, но вполне возможно, что сознание собеседников до этого и не доходило. Одно несомненно, что этот новый способ выражения мысли был вызван к жизни гончаровским образом, хотя он ни в какой мере и не был еще дан у Гончарова в таком виде.

Разберем в этом плане несколько первых строк брюсовского стихотворения, с которого я начал свою статью. Оно все построено на антитезе, — прием, конечно, не выдуманный Брюсовым, но усвоенный им из мировой поэтической традиции, — это, своего рода „грамматика поэзии“ (я мужественно решаюсь на святотатственное соединение этих двух терминов, так как твердо убежден, что когда наши поэты и литературоведы поймут, что такое настоящая грамматика, то вполне согласятся со мной). Нельзя придумать более шаблонных выражений, как *верный друг* и *враг коварный*; но в антитезе они очень оживают и приобретают полную выразительность. *Мой царь, мой раб*, конечно, просто заимствованы у Державина из его оды „Бог“. Но это не только не мешает делу, но даже повышает значительность брюсовской ан-

титезы, сообщая ей хорошо знакомый пафос смутно помнящегося по содержанию, но замечательного стихотворения Державина.

Мне не нравится, откровенно говоря, сопоставление *моих стихов с моим криком*: по смыслу это решительно слабо. Но Брюсов искусно замаскировал это расстановкой элементов третьего и четвертого стихов, поставив в центре внимания *как вызов яростный* и тем затушевав *мой крик*. Зато словосочетание *вызов яростный* надо признать исключительно удачным: *яростный* отвлечено от такого сочетания, как *яростно нападать*, и сообщает слову *вызов* всю аффективность этого сочетания. Что касается *дым алтарный*, то оно употреблено здесь приблизительно в том же смысле, как, например, *фимиам*. Конечно, это шаблонное выражение, но придание ему в контексте вполне понятного значения „восхваление“, может быть, принадлежит и Брюсову. Насколько это удачно — вопрос другой.

Пропускаю следующий куплет, чтобы остановиться на двух словах третьего куплета. Во-первых, словосочетание *в потаенном смысле слов* едва ли не принадлежит Брюсову и является очень удачной находкой. Известны, хоть и устарели, сочетания *потаённая лестница, потаённый ход* (теперь скорее *потайная лестница, потайной ход*) и т. п.; но вряд ли мы имеем дело в данном случае просто с переносным значением слова *потаённый*, взятого из этих словосочетаний; *потаенный смысл слов* Брюсова, конечно, не ассоциируется и с областным, и во всяком случае просторечным *потаить*. Оно скорее получает динамическую глагольную окраску по структурной связи с глаголом *затаить*, особенно в словосочетании с *затаённым дыханием* (т. е. в состоянии исключительного напряжения), а в связи с произношением через *е*, а не через *ё* воспринимается как архаизм и в результате является неизмеримо более выразительным, чем его синоним *тайный*. (Ср.: *в потаенном смысле слов* и *в тайном смысле слов*.)

Обращаю, наконец, внимание на сочетание *овладевавших мной стихов*, которое, думается, тоже принадлежит Брюсову и которое сделано по аналогии с таким выражением, как *мною овладела грусть, тоска, тихая радость* и т. п., а потому прекрасно изображает стихийный характер творческого процесса.

Разберем еще пример из Маяковского. Раскрываю наудачу книгу его стихов и попадаю на стихотворение „Прочь руки от Китая!“ Уже первая фраза этого стихотворения не может быть правильно воспринята, а тем более создана без языкового сокровища, унаследованного нами, в том числе и Маяковским, от наших лингвистических предков:

Война,
империализма дочь,
призраком
над миром витает,

В самом деле, никто сейчас не ставит родительного падежа перед определяемым им существительным; никто не скажет: *этой книги страницы, Совнаркома постановление*. А Маяковский сказал *империализма дочь*, и выходит это удачно, как-то компактно и выразительно, и можно сказать с уверенностью, что он не повторял слышанного. Кто же тогда дал ему право так сказать, и почему мы это понимаем и одобряем? Да потому, что смутно припоминаем у Ломоносова *Градов и сел ограда, возлюбленная тишина*, потому, что каждому начитанному в нашей литературе знаком этот архаический порядок слов, идущий еще из греческого языка и сейчас подчеркивающий в поэтическом языке единство понятия. Я не говорю уже о словах *призрак* и *витает*, которые выразительны и уместны здесь лишь для людей начитанных, а слово *витает* в конечном счете и понятно только при условии достаточной начитанности.

Из всех этих примеров явствует, что наша языковая сокровищница является неистощимым запасом для всякого новотворчества в области языка, которое, однако, будет понятно всем обладателям той же сокровищницы и которое само войдет в сокровищницу будущих поколений. Сокровищница эта полна всяких готовых мыслей, готовых шаблонов, фраз, образов и оборотов и охотно снабжает ими своих клиентов, которые в большинстве случаев просто повторяют слышанное. Но она имеет в виде этих самых шаблонов и богатый запас материалов для новотворчества, для выражения новых мыслей и новых чувств. Самое главное, что мы должны осознать здесь,— это то, что наряду с наблюдением природы в широком смысле и явлений современной нам жизни языковая сокровищница является основным и единственным источником искусства слова в самом широком смысле.

Если мы отвергнем эту сокровищницу, то нам или придется обращаться к варягам, т. е. заимствовать слова и образы из других языков, или вернуться в первобытное состояние и начинать накопление с самого начала.

Из всего этого сразу же можно сделать вывод, что литературный язык тем совершеннее, чем богаче и шире его сокровищница; т. е. чем больший круг литературных произведений читается в данном обществе.

Далее, не менее очевидно и то, что тем богаче будет эта сокровищница, чем однороднее будет ее материал, т. е., говоря попросту, чем понятнее будут нам все литературные произведения, в нее входящие. Всякий резкий разрыв в ее составе уменьшает ее ценность: произведения, в которых мы чувствуем, что „так не говорят“, а тем более, что „это и вовсе непонятно“, выпадают из нашей сокровищницы. С этой точки зрения любопытно отметить, что французская революция XVIII в. хотя и внесла в язык XIX в. очень много нового, однако не создала непроходимой грани между произведениями XVII и XVIII вв., с одной сто-

роны, и произведениями XIX и XX вв., с другой, в смысле их понятности.

И сейчас еще французская молодежь воспитывается на классической литературе, на Мольере, Расине, Лафонтене и других великих писателях XVII в. Я не говорю уже о писателях XVIII в., Руссо, Вольтере, Бомарше и других, которых читаем и мы и которые занимают почетное место во французской языковой сокровищнице. Наша актуальная литература начинается лишь с XIX в., но мы читаем и кое-что из XVIII в. и безусловно в какой-либо мере приобщаемся к народному творчеству в виде былин, сказок, песен и т. п. Однако мы должны помнить, что еще в XVIII в. жива была сокровищница нашей древней литературы, накопление которой началось еще в IX в. и которая наполнена всем тем, что имела греческая литература и культура того времени. Мы утратили эту сокровищницу в том смысле, что перестали читать нашу древнюю литературу, — и это более чем естественно. Однако наша современная сокровищница успела вобрать в себя из старой все ценное, и хотя сама она и начинается только с XIX в., но начинается не с нуля, как в этом легко убедиться хотя бы на Пушкине.

Из всего этого можно сделать и некоторые практические выводы: наши писатели обязаны с карандашом в руке штудировать и штудировать нашу литературу, и не только начиная с Пушкина, и не ожидать, что новые способы выражения новых мыслей свалятся к ним сами собой в виде манны небесной. Надо отметить, что, по почину Горького, в этом смысле многое и делается: издаются, например, две серии „Библиотеки поэта“ — маленькая и большая. Эти „Библиотеки“ в высшей степени полезны каждому человеку, желающему расширить свой горизонт в области истоков нашего литературного языка. С другой стороны, наша средняя школа, которая обязана готовить понимающих читателей, должна не столько рассуждать по поводу литературы, сколько напитать своих воспитанников всей совокупностью нашей классической литературы и научить их читать ее со смыслом, так, как она того заслуживает.

Из того, что в основе всякого литературного языка лежит богатство всей еще читаемой литературы, вовсе не следует, что литературный язык не меняется. Пушкин для нас еще, конечно, вполне жив: почти ничто в его языке нас не шокирует. И однако было бы смешно думать, что сейчас можно писать в смысле языка вполне по-пушкински. В самом деле, разве можно сегодня написать *Все мои братья и сестры умерли во младенчестве* („Капитанская дочка“)? Это вполне понятно, но так никто не пишет и не говорит.

Неподготовленный, хотя и вполне грамотный читатель нижеприводимые стихи

Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный,
Без томной робости твой ловит светлый взор;

вне контекста поймет только в самом пошлом смысле. Между тем во времена Пушкина (а это стихи Пушкина) *любовник*, как и французское *amant*, обозначало просто „влюбленный“; *упоенный* переводило французское *enivré* — „опьяненный“ и употреблялось в переносном смысле, а *игривый* обозначало приблизительно „оживленный, веселый“. Цитированные строки как нельзя более далеки от какой бы то ни было даже тени пошлости (Пушкин даже это подчеркнул словами *без томной робости*).

Что литературный язык, как и всё в жизни, тоже изменяется, — не подлежит никакому сомнению, и надо выяснить только, какие изменения являются безусловно необходимыми по существу вещей, а каких в той или другой мере можно и должно избегать. Надо выяснить, какие изменения обогащают язык, удовлетворяя вновь возникающим потребностям мысли и коммуникации, а какие, разрушая его единство, уменьшают „сокровищницу“, лежащую в его основе, а следовательно, его обедняют.

Уже более или менее а priori можно догадываться, что отмирание старого, ставшего ненужным и даже вредным, ничего не разрушает, ибо в сущности остается в сокровищнице языка и лишь передвигается в категории, уже существующие во всяком литературном языке: „устарелое“, „специфически буржуазное“ и т. п. Таковы слова: *городовой, полиция, пристав, исправник, фельдфебель, доходный дом* или *тантьема, инородцы* и т. д. Эти слова пассивно существуют у нас, поскольку мы читаем старую или зарубежную литературу. В некоторых случаях они существуют и активно, когда мы говорим о прошлом и т. п., но они лишены актуальности и реже могут служить отправным пунктом для развития значений: никому не придет в голову говорить теперь о *фельдфебельской выправке* или *фельдфебельской психологии*. Говоря проще, эти слова присоединились к таким словам, как *городничий, винный откуп, откупщик* и т. п.

Совершенно очевидно, что все новые слова или новые значения старых слов, появляющиеся для обозначения возникающих новых идей и понятий или их новых оттенков, ни в какой мере не деформируют язык, а лишь обогащают его. Таковы и бесчисленные, появившиеся после революции новые слова, отражающие новую жизнь, новый быт, новое миропонимание нашей эпохи и в конце концов просто новую психологию. Сюда относятся такие бесчисленные слова, как *Совет, советская власть, комиссариат, милиция, милиционер, Красная Армия, красноармеец, боец, трудовая интеллигенция, народный заседатель* и множество других. Громадная масса новых советских слов вошла в язык в особой форме так называемых сложносокращенных слов. Сюда относятся такие слова, как *исполком, ЦК, Политбюро, нарком, вуз, втуз, местком, колхоз, домработница* и т. п. Любопытно

отметить, что все эти слова прижились просто как слова, а не специально как сокращенные слова; никто не раскрывает себе *колхоз* как *коллективное хозяйство*, а скорее *коллективное хозяйство* приходится раскрывать как *колхоз*. Одно время наблюдалось чрезмерное увлечение сложносокращенными словами. Но в дальнейшем оказалось, что такое увлечение ими ведет в конце концов к затруднению взаимопонимания. В самом деле, эти слова удобны или когда они не нуждаются в расшифровке, т. е. когда они являются простыми и часто всеми употребляющимися словами, как например *колхоз*, *местком*, или когда их расшифровка всем очевидна, что бывает только тогда, когда одна из частей сложного слова является обыкновенным словом, а другая — своего рода префиксом или суффиксом с известным всякому значением, как например *парработник*, *партилет*, *партсобрание* и т. п.

В тех случаях, когда расшифровка затруднена, а слово необщепотребительное, то сложносокращенные слова решительно вредны, так как непонятны. В самом деле, что значит *ЛГУ* (Ленинградский государственный университет), *БАН* (библиотека Академии наук), *ИЯМ* (Институт языка и мышления) и т. п. Подобные слова недопустимы в литературном языке и возможны только в узких заинтересованных кругах, образуя своего рода аргю.

Одним из высших мерил достоинства языка является его общепонятность.

В этом плане я хочу указать на одно замечательное отличие между дореволюционным литературным языком и литературным языком эпохи строительства социализма. До революции технические слова почти совсем не входили в литературный язык: *струпицинки*, *колосники*, *колировать*, *банкаброш* и т. п. — все эти слова не входили в литературный язык и не попадали даже на страницы ежедневной прессы. Это старая европейская традиция литературных языков, ярко сказавшаяся впервые на „Словаре французской Академии“ XVII в., которую, между прочим, всегда сильно упрекали за принципиальное пренебрежение к производственным терминам. Между тем это было вполне понятно: литературный язык в первую голову был тогда языком салона, языком высшего общества, которое весьма далеко стояло от всякого производства, которое, больше того, презирало всякое производство, гнушалось им. В дальнейшем идет процесс постепенной демократизации литературного языка, обслуживаемых литературным языком значительных слоев людей дела, людей, стоящих близко к производству. В связи с этим в каждом новом издании „Словаря французской Академии“ появляется все новое и новое количество производственных терминов. Тот же процесс, но не в такой четкой форме происходил и у нас. Революция резко изменила положение вещей — и не в том смысле, что реальные люди с производства сами составили то „общество“, функцией которого является литературный

язык, а изменилась идеология общества. Нетрудовые элементы потеряли вес в обществе (постепенно и вовсе исчезают из него), и вопросы производства и его организации стали в центре внимания: элементы политехнического образования стали внедряться в общественное сознание вместе со стремлением в том или другом отношении заполнить пропасть между умственным и физическим трудом. Все это привело к тому, что производственная терминология стала вливаться широкой струей в наш литературный язык, расширяя знакомство с элементами разнообразных производственных процессов. Газеты наши пестрят такими словами, которых вовсе не знало предшествующее поколение: *зябь, взмет, врубовая машина, крекинг* и т. п. И надо сказать, что тут тоже имеется некоторый перегиб, ибо увлечение производственными терминами приводит иногда к непонятности языка.

В доказательство позвольте привести телеграмму из Архангельска следующего содержания, помещенную в одной из газет: „Сплавные операции проходят лучше, чем в прошлом году. Запони Северной Двины уже выполнили навигационный план сплотки“.

Или вот еще отрывок из телеграммы о новом типе американского бомбардировщика: „Этот бомбардировщик дальнего действия — Боинг „Б-17“ — идентичен прежним моделям. Отличие состоит в том, что пулеметные установки заменены пятью турелями, заподлицо утепленными в фюзеляже“.

Самым деликатным, самым уязвимым и вместе с тем очень важным элементом языка является его стилистическая структура. Большинство эффектов литературной речи основано на тонкой игре стилями. Почему нам так нравится язык Ленина, например, в его больших философских работах? Да потому, что Ленин все время оживляет свое изложение разными словами другого, не научно-философского стиля. Это как раз замечательно гармонирует с его насмешками над „цеховыми учеными“, которые словечка не скажут спроста.

Стилистическая структура языка состоит, как известно, в том, что слова его образуют группы по какому-либо сопровождающему их оттенку: либо это возвышенные слова — *вкушать, возвещать* и т. д., либо это обыденные слова (их можно бы назвать с некоторым основанием „внестилевыми“) — *есть, сообщать*, либо фамильярные — *уплывать, выкладывать* (*он в пять минут выложил нам все новости*), либо официальные — *потреблять* (в смысле *есть*), *доводить до сведения* и т. д. В словаре Ушакова таких групп насчитывается 36. Их, конечно, гораздо больше (о чем говорится и в самом словаре). Уже из этого видно, какая это тонкая и сложная структура. Всякое употребление слов в ином контексте, чем тот, который определяется оттенком их группы, может вызывать тот или другой стилистический эффект и может быть неуместным. Самые элементарные эффекты вызываются, например, внесением фамильярных слов в возвышенный стиль. Примером такого элементарного комического эффекта является старинная

шутка: „Хочешь дам ти подзатыльницу?“ — „Абие воздам ти сторицею“, где все дело во внесении житейского, хотя и стилизованного слова *подзатыльница* в церковнославянскую речь, с мало-понятым *абие* (в смысле *тотчас*) и т. д. Этот невинный прием и сейчас часто вызывает у нас искренний смех. Такой же эффект получился бы в стихотворении Брюсова, если вместо *мой верный друг, мой враг коварный* сказать *мой верный приятель*; но это, конечно, разрушило бы все стихотворение.

Если кто в серьезной книге напишет „фагоциты *уплетают* микробов“, это будет глупо и неуместно.

Я не буду ничего говорить о механизме противопоставления слов синонимического характера, который играет большую роль в стилистической структуре языка (примеры его даны в выше-приведенных словах). Обращу ваше внимание лишь на то, что слова сами по себе очень часто не имеют никаких признаков для их зачисления в ту или другую группу, а группы держатся только на основании строгого употребления слов, их составляющих, соответственно оттенку данной группы. Из этого вытекает, что всякое неуместное со стилистической точки зрения употребление слов разрушает стилистическую структуру языка, а язык с разрушенной стилистической структурой то же, что совершенно расстроенный музыкальный инструмент, с той только разницей, что инструмент можно немедленно настроить, а стилистическая структура языка создается веками.

С этой точки зрения „засорять язык ненужными словами“ значит не только вносить новые, но ничего нового не выражающие и притом непонятные слова, но и просто употреблять слова грубые, или областные, или арготические и т. п. как обыденные (внестилевые) и этим в корне уничтожать стилистическую перспективу данного литературного языка.

Однако все то, о чем я здесь пишу, в сущности не ново. Но на что я хотел бы обратить совершенно особое внимание — это на ту новую роль, которую русский язык призван играть среди прочих языков нашего Союза и которая заставляет нас смотреть на многие вопросы развития русского литературного языка с совершенно новой точки зрения. В самом деле, мы, строители нового, социалистического общества, являемся братским союзом чуть не двухсот народов, говорящих (а теперь пишущих благодаря нашей национальной политике) на своих родных, национальных языках. У нас у всех общее дело, являющееся основным смыслом жизни современных поколений граждан нашего Союза. Но общее дело требует и общего языка. Недаром еще библейская мифология наилучшее средство для разрушения большого общего дела видела в наделении его участников разными языками. В литературе этой легендой пользуются в более переносном смысле, но она справедлива и в самом прямом, непосредственном смысле. Совершенно очевидно, что таким общим языком для народов СССР может быть только русский язык. Он, конечно, вовсе не должен заме-

нить литературные языки народов, входящих в наш Союз, но он должен помогать этим народам понимать друг друга. Это обстоятельство ставит новые задачи перед русским литературным языком. Если до революции русский литературный язык обслуживал только русских, то теперь он должен обслуживать и все народы нашего Союза. В связи с этим до революции мы главным образом с любовью культивировали в нашем языке все специфически русское, родное — меткие слова и обороты, не переводимые на другие языки, вплоть до отдельных форм, которым не было аналогов в европейских языках, и вплоть до буквы *ль*, в которой для многих, как это ни странно, чуть ли не воплощалась русская народность.

Русский язык, конечно, является родным для русских, но он должен сделаться, и делается на самом деле, и международным языком социалистической культуры, по крайней мере для всех народов СССР. Мы, конечно, не можем изменить нашего языка для наших сограждан, но мы можем подумать о том, чтобы впредь не поощрять тех изменений в языке, которые, ничего не прибавляя в смысле выразительности, затрудняют усвоение языка. Мы не должны повторять ошибок французского языка, в котором существует множество внутренне не обоснованных дифференциаций, крайне затрудняющих овладение французским языком как родным. Элементарную иллюстрацию сказанного можно видеть, например, в том, что говорят *je bois l'eau, le vin*, но *je prends le café, le thé* и т. д.

И таких примеров множество.

В русском языке подобных случаев гораздо меньше. Он вообще терпимее и свободнее, и нам надо поддерживать эту разумную свободу, поскольку, конечно, она не портит языка.





К ВОПРОСУ О РУССКОЙ ОРФОЭПИИ

[ПЕЧАТАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ. РУКОПИСЬ НЕ ДАТИРОВАНА] ¹¹

Я очень рад, что прекрасная и обстоятельная статья проф. Д. Н. Ушакова „Русская орфоэпия и ее задачи“ * уже нашла себе отклик, и я хочу думать, что дело этим не окончится.

Из имеющихся высказываний я делаю очень важный вывод, который для меня является несколько неожиданным и который состоит в том, что для единства русского произношения недостаточно установить ряд правил вроде предлагаемых Д. Н. Ушаковым в вышеупомянутой статье, но что предварительно нужно еще проанализировать и установить самую систему русских фонем и их оттенков, отобрав безусловно важные от неважных **. Писавшие на эту тему — а их теперь довольно много — далеко не всегда сходятся друг с другом в очень и очень многих пунктах.

Кроме того, я хотел обратить внимание на одно упускаемое при всех орфоэпических рассуждениях обстоятельство, на которое, однако, я указывал неоднократно (например, в статье „О разных стилях произношения“ — Записки Неофилологического общества при Петроградском университете, VIII, 1915, стр. 339—347) ***. Дело в том, что отнюдь нельзя себе представлять, что существует какой-то единый стиль нормального произношения, хотя бы для каждого языка; возможна целая школа разных произношений, начиная от самого медленного, ясно дающего каждый слог, и ударный и неударный, и рассчитанного, скажем, на тугоухого ****,

* „Русская речь“, III, 1928.

** Можно подумать, что оттенки будут одинаковы у всех русских. Это, во-первых, совсем не так, а во-вторых, теперь, когда русский язык официально является хотя и государственным, но иностранным для массы украинцев, белорусов, не говоря уже о грузинах, армянах, узбеках и т. д., и т. д., приходится думать о русской орфоэпии совсем в ином аспекте, чем это было до революции.

*** [См. стр. 21 настоящей книги.— *Ред.*]

**** Можно подумать, что это искусственное произношение и что оно редко встречается; это неверно, так как мы его применяем всегда, когда мы хотим выделить какое-нибудь слово — когда мы „отчекапиваем“ каждый слог, когда возможно недоразумение, когда слышание затруднено окружающим шумом, расстоянием, тугоухостью слушающего и т. д., и т. д. Наконец, это произношение имеет место в пении, когда более или менее долгие ноты приходится на неударные гласные.

и кончая скороговоркой давно знающих друг друга людей. Какое же из всех возможных произношений надо стандартизировать? Я думаю, что надо стандартизировать два произношения: одно пословное, максимально четкое и ясное, другое — то, которое проявляется в связной непринужденной речи, в ее, однако, скорее замедленном темпе. Как мне кажется, большинствó авторов, писавших по вопросу о русском произношении, недостаточно вникали в дело с этой точки зрения. Между тем иногда разногласия происходят именно оттого, что авторы имеют в виду разные стили произношения. Зато иногда и видимое согласие таит в себе глубокое разногласие.

Вот несколько примеров, иллюстрирующих сказанное.

1. При более или менее небрежном произношении я, конечно, говорю так же, как и Д. Н. Ушаков «с'и'сы» (= *чисы* Ушакова), «р'и'tак» (= *питак* Ушакова); но при отчетливом произношении я могу сказать только «с'а'сы» и «р'а'tак» (т. е. *ча-сы*, *пя-так*); не шокировало бы меня и «с'е'зы» и «р'е'tак» (т. е. *че-сы*, *пе-так* с отчетливым *е*). Как произнесет в этом случае Дмитрий Николаевич, не знаю, но подозреваю, что он слегка склоняется к произношению *чи-сы*, *пи-так*, с ясным «и». Зато я говорю «'ту'с'и'ми» (= *тучими*), «'ды'и'ми» (= *дыними*), но не «'ту'с'ь'ми» (= *тучьми*), как говорит или думает, что говорит, Д. Н. Но, вероятно, совершенно единодушно с ним мы скажем в отчетливом произношении «'ту'с'ам'и» (= *ту-ча-ми*), как и «'ды'н'ам'и» (= *ды-ня-ми*), и я полагаю, что именно морфологический вес окончания *-ами* заставляет его утверждать окончание *тучьми* и для непринужденного произношения.

Далее, я, конечно, тоже произношу обычно «v'и'зу» (= *визу* Ушакова); но в отчетливом произношении это звучало бы для меня страшно диалектно (как и *чисы* и *питак*), и в этом произношении для меня существует только «v'e'зу» (= *ве-зу*).

2. В отчетливой речи я, конечно, вполне различаю: 1) *Поля* (собств. имя), 2) *поле* (им. — вин. пад., который у меня вполне совпадает с предложным *в поле* и с дательным падежом от *Поля — Поле*) и 3) *Поли* (род. пад. собств. имени). Однако *имя*, *знамя* и при отчетливом произношении я скажу с ясным *е* на конце. В ослабленном виде все эти различия сохраняются у меня и при небрежном произношении, и только в предложном падеже после *к*, *з*, *х* появляется «и» (*и*): *на извозчике* = «п'ыз'в'о'с'ч'ик'и» (в четкой речи, однако, и здесь сохраняется *е*). Поэтому произношение Д. Н. «'р'о'ль» (= *пол'ь*) в им. — вин. пад. для меня абсолютно чуждо; но я спрашиваю себя, может ли он, стараясь быть синтаксически понятным (например, иностранцу), сказать отчетливо *ма-ё по-ля*, *фпо-ли*. Если да (а я думаю, что рекомендуемые Д. Н. произношения с абсолютной необходимостью постулируют это), то ведь спор между нами идет не только о произношении, но и о морфологии, о том, чья морфологическая система может претендовать на общерусское значение — моя или Д. Н.:

	Ушаков	Щерба
им. — вин.	<i>поля</i>	<i>поле</i>
род.	<i>поля</i>	<i>поля</i>
дат.	<i>полю</i>	<i>полю</i>
твор.	<i>полям</i>	<i>полям</i>
предл.	<i>(в) поли</i>	<i>(в) поле</i>

3. Я выговариваю при неотчетливом произношении слова *цена, жена*: *цѣна, жѣна* (по ушаковскому изображению) и полагаю, что разница с *цына, жына* Д. Н. будет практически прямо-таки ничтожной. Но при отчетливом произношении я скажу, конечно, «се¹па» = *цена*, «ѣ¹па» = *жена*, и отчетливые *цы-на, жы-на* кажутся мне страшно провинциальными, диалектными.

Сказанного, полагаю, достаточно для того, чтобы показать, какие большие вопросы языка всплывают при более внимательном отношении к казалось бы совершенно невинным фактам произношения.

В заключение приведу несколько образчиков двойной транскрипции, как мне она рисуется, например, в фонетическом словаре русского языка:

<i>цепóчка</i>	«се¹рəѣ¹кл»	«сə¹рəѣ¹кл»
<i>пятачóк</i>	«р¹ета¹ѣ¹к»	«р¹ита¹ѣ¹к»
<i>города́</i>	«гара¹да»	«гəрл¹да»
<i>гóрода</i>	«¹гəрл¹да»	«¹гəрəд¹л»
<i>са́ло</i>	«¹са¹л»	«¹са¹л»
<i>зима́</i>	«зи¹ма»	«z¹¹ма»
<i>но́готь</i>	«¹нəг¹т¹»	«¹нəгəт¹»
<i>совет</i>	«са¹в¹ет»	«сл¹в¹ет»
<i>рыба́к</i>	«ры¹бак»	«ры¹бак»
<i>передóк</i>	«р¹ер¹е¹дəк»	«р¹и¹р¹¹дəк»
<i>пéред</i>	«¹р¹ер¹ет»	«¹р¹ер¹ит»
<i>мóлят</i>	«¹мəл¹ут»	«¹мəл¹ут»

Знаки «л, ё, ı, ы, ѹ» изображают соответственно ненапряженные*, неясные а, э, и, ы, у**; «ə, ı»*** — сильно редуцированные ы, и; «e» — закрытое е; «e» — открытое е.

* В прямом значении этого слова, а не в смысле „открытые“.

** Само собой разумеется, что эти определения рассчитаны лишь на не очень осведомленного в научной фонетике читателя.

*** Эти знаки можно было бы для большей вразумительности печатать петитом.





ТЕОРИЯ РУССКОГО ПИСЬМА

[ПЕЧАТАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ, РУКОПИСЬ 1942—1943 гг.]¹²

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Главные стадии развития человеческого письма и основной характер русского письма

Письмо есть средство коммуникации между людьми в тех случаях, когда непосредственное общение для них почему-либо невозможно, т. е. практически когда они разделены пространством (географически) или временем (хронологически). Хотя и на первых ступенях своего развития письмо было, конечно, тесно связано с устным языком, однако связь эта вначале была очень неопределенная: те наивные рисунки, посредством которых первобытный человек пытался передать другим свои мысли, чувства, желания и которые известны под названием пиктографии, можно читать (если не понимать) по-разному. В самом деле, как прочитать эту вывеску, которую когда-то можно было видеть у парикмахера в захолустьях нашего отечества и которая изображала человека с намыленной щекой*: *Парикмахерская, Цирюльник, Здесь бреют* (этот последний вариант поддерживается встречающейся на некоторых вывесках припиской — *и кровь отворяют*)? Примеры настоящих пиктографических сообщений малокультурных народов можно найти в любом учебнике по истории письма.

Конечно, и при пиктографии какая-то фраза или фразы устного языка преподносились сознанию пишущего. Однако есть все основания думать, что письмо в данном случае не являлось результатом систематического лингвистического анализа конкретных фраз устного языка на те или другие языковые знаменательные части (например, слова). Этот отрицательный признак — независимость письма от того или иного смыслового, но чисто лингвистического членения речи — и надо считать характеристикой той стадии развития письма, которая называется пиктографией.

Следующая стадия развития характеризуется уже большей связью с устным языком: письмо появляется в результате анализа

* Подобные вывески являются, конечно, пережитком пиктографии, поскольку они понимались, как заменители надписей.

конкретных фраз на знаменательные части (например, слоги), каждая из которых получает свое изображение, сначала реальное, а потом символическое — свой иероглиф. В связи с этим данная стадия известна под названием иероглифического письма.

Наконец, последняя стадия развития письма характеризуется анализом речи уже на отдельные звуки и звуковые комплексы с их обозначением посредством тех или иных символических знаков — букв. Эта стадия потому и называется звуковым письмом*.

Само собой разумеется, что все эти стадии являются до известной степени абстракциями. На самом деле между ними в реальных письменностях наблюдается множество переходных случаев, и на практике можно говорить лишь о преобладании того или другого принципа в той или другой письменности определенной эпохи.

Русское письмо наряду с письмом громадного большинства современных литературных языков (кроме, однако, китайского и японского) является настоящим звуковым письмом. Однако и в нем можно вскрыть иероглифические и даже пиктографические элементы. В качестве последних приводят обыкновенно знак + в смысле сложения, знак Δ в геометрическом языке в смысле треугольника и т. д. Иероглифами являются наши цифры, знаки = „равенства“, < „меньше“, > „больше“ и т. п. Мы увидим ниже, что иероглифический принцип играет большую роль в английском правописании, несколько меньшую — во французском и хотя совсем небольшую, но все же играет ее и в русском, и в немецком.

Если мы задумаемся, однако, хорошенько в современное письмо европейских народов, то придем к заключению, что столь важный в нем элемент, как делимость на слова, тоже является в сущности применением иероглифического принципа. Действительно, границы слов фонетически или ничем не выражены, как например во французском, или выражены настолько слабо, что возможны всякие недоразумения: по-немецки с фонетической точки зрения ничто не заставляет делить *der Vogel singt* так, как это имеет место, и с фонетической точки зрения вполне можно было бы написать, например: *Dervo gelsingt*; по-русски *сила рук* вполне можно было бы написать *си ларук*.

В очень многих языках слова как самостоятельная единица определяются словесным ударением. Не говоря уже о том, что в языках со свободным ударением это, как мы только что видели, не определяет границ слова, мы должны были бы, руководствуясь словесным ударением, все энклитики и проклитики не считать за особые слова и писать их слитно со словами, к которым они относятся. По-русски, следовательно, мы должны были бы писать *подстоло́м, на́реку, говорíлон, я́ зна́ю что́ты́ придéшь*; по-не-

* Что касается слогового письма, то оно является лишь частным случаем звукового.

мецки *einbüch*, *wirspréchen*, *alsernachháuse kám** и т. п. Таким образом, белое место между словами, с одной стороны, и дефис, с другой, надо считать за своего рода иероглифы.

Далее, такой знак, как кавычки, надо, конечно, считать иероглифом, так как он решительно ничего не выражает фонетически. Многие запятые в русском, немецком, чешском тоже ничего не выражают и употребляются иероглифически. В сущности даже про такие элементы нашего письма, как знак вопросительный, можно спрашивать себя, что он в первую голову выражает — вопрос или вопросительную интонацию. Это еще более справедливо и по отношению к прочим знакам препинания. То же относится и к прописным буквам после точки. Что касается прописной буквы имен собственных, то она, конечно, является иероглифическим элементом.

Основное деление книги

Чтобы построить теорию русского письма, надо сделать обзор относящегося сюда материала: во-первых, определить звуковые выразительные средства русского языка вообще и выделить те из них, которые нашли себе то или другое обозначение на письме; во-вторых, надо определить те смысловые элементы, которые нашли себе непосредственное обозначение на письме в той или другой степени, минуя звуковое посредство; в-третьих, надо выделить те элементы русского письма, которые имеют только звуковое значение, и те, которые имеют или чисто иероглифическое значение, или смешанное — полузвуковое, полуиероглифическое.

К числу звуковых выразительных средств русского языка относятся прежде всего отдельные звуки речи — согласные и гласные, — длительность (или, как говорят в фонетике, „количество“ согласных), так называемое „словесное ударение“, паузы, вообще ритм и, наконец, интонация в самом широком смысле этого слова; хотя и в гораздо меньшей степени, но сюда относится и слоговое строение. Из них на письме нашли себе систематическое обозначение лишь отдельные звуки и их длительность. Интонация и пауза нашли себе в некоторых случаях обозначение в знаках, которые имеют и непосредственное смысловое значение. Слоговое строение обозначается лишь в некоторых случаях (см. ниже).

К числу смысловых элементов, нашедших себе в той или другой степени обозначение на письме, относится прежде всего членение нашей речи на слова, а затем гораздо менее систематически — различные типы и иного ее членения; иногда тот или иной характер связи между отдельными элементами речи; характеристика тех или иных элементов речи как утверждение или вопрос; особая аффективность утверждений, вопросов и особенно приказаний; некоторые специальные характеристики тех или других отрезков речи (например, как чужая речь, как прерванная речь и т. п.).

* По-французски *jenepuispasmereappeler*.

Что касается элементов письма, то буквы имеют исключительно звуковое значение, а белые пространства между словами, дефисы и так называемые знаки препинания (включая и красную строку) имеют или чисто иероглифическое значение, или смешанное — полужвуковое, полуиероглифическое; сюда же относится и употребление прописных букв.

В связи с только что установленным различием в функциях элементов нашего письма его теорию правильнее всего разбить на две части: 1) употребление знаков, обозначающих звуковые элементы русского языка, и 2) употребление знаков, обозначающих в первую очередь некоторые грамматические и смысловые элементы русского языка. В первом случае это будут в основном знаки для тех звуковых элементов, которые дифференцируют отдельные слова, т. е. буквы; во втором — это будут в основном знаки, характеризующие посредственно или непосредственно синтаксические единицы речи, хотя бы они и состояли из одного слова, т. е. в первую очередь так называемые знаки препинания и вообще небуквенные знаки в письме. В общем это будет отвечать традиционному делению на „правописание* и пунктуацию“; только слитное, дефисное и раздельное написание, а также употребление прописных букв при нашем делении переносятся из традиционного правописания в пунктуацию.

ЧАСТЬ I

ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ БУКВ РУССКОГО АЛФАВИТА

Графика и правописание

Согласно сказанному в предыдущих параграфах, первая часть посвящена буквам русского письма и правилам их употребления. Приглядываясь, однако, ближе к этим так называемым „правилам правописания“, можно заметить, что среди них надо различать две категории правил. Одни говорят о значении букв данного языка совершенно независимо от написания тех или других его слов; другие говорят о написании конкретных слов данного языка, которое может находиться в отдельных случаях и в полном противоречии с правилами первой категории.

Так, по-русски в окончании родительного падежа ед. числа муж. и средн. рода прилагательных и местоимений пишется *з* вместо произносимого *в*: *красного, синего, его, самого* и т. п. вместо *красново, синево, ево, самова* и т. д. Однако никому в голову не придет утверждать, что звук *в* в русском языке может изображаться не только через букву *в*, но и через *з*: немецкую фамилию *Wiese* никак нельзя написать по-русски *Гизе*. В написании *красного, его* и т. п. мы имеем, таким образом, дело

* Слово *правописание*, как видно будет из дальнейшего, я употребляю в более узком, специальном смысле.

с правилом второй категории. Наоборот, когда мы пишем русскими буквами китайские географические названия *Яньчэн*, *Чжэцзян* через букву э, то мы поступаем согласно правилам первой категории, которые дают возможность изображать твердость звука ч и его звонкой параллели, передаваемой сочетанием чж. При этом мы поступаем так вопреки правилам второй категории, по которым после шипящих никогда не пишется буква э. Очевидно, что правила второй категории относятся только к русским словам или к словам, ставшим совсем русскими.

Многим кажется, что в словах *вода*, *голова* и т. п. буква о изображает звук а, и это фактически, конечно, так. Однако никак нельзя сказать, что в русском алфавите звук а в неударенном положении изображается или через букву а или через букву о: французскую фамилию *Sardou* никак нельзя написать *Сорду*. И когда мы пишем о в словах *вода*, *голова*, то пишем одну букву вместо другой, сознательно изображая в силу того или иного правила второй категории не тот звук, который на самом деле произносится.

То же самое имеет место и в тех случаях, когда мы на конце слов вместо букв для глухих согласных пишем буквы для соответственных звонких, например, *боб* вместо *бон*, *воз* вместо *вос* и т. д. Мы это делаем опять-таки не потому, что в русском алфавите буквы для звонких согласных могут изображать в известных случаях и глухие: мы сознательно, в силу определенного правила второй категории, ставим одну букву вместо другой; но никому не придет в голову немецкую фамилию *Roth* написать *Род*, хотя с точки зрения законов русского произношения это и вполне возможно, о чем будет сказано ниже.

Написание о вместо а и звонких вместо глухих, а в известных случаях и обратно (*просьба* вместо *прозьба*) облегчается тем, что в русском языке нет неударенного о, на конце слов в произношении невозможны шумные звонкие согласные («б, в, д, з, ж, г»), а перед шумным, кроме «в», в произношении возможны лишь однородные согласные, т. е. звонкие перед звонкими и глухие перед глухими. Однако все это нас несколько не уполномочивает говорить, что буквы русского алфавита о, б, в, д, з, ж, г, а в конце концов и п, ф, т, с, ш, ц, ч, к, х (ср. *отдать* вместо *оддать*, *к дому* вместо *г дому* и т. д.) двусмысленны, т. е. имеют два звуковых значения, а именно: буква о — значение о и а, буква б — значение б и п, буква в — значение в и ф и т. д.

Явления, аналогичные только описанным, имеются в письменности многих языков. Так, во французском алфавите буквы с и g перед буквами e, i, u обозначают звуки, близкие к русским с и ж, и звуки, близкие к русским к и г, во всех остальных случаях: *cil* „ресница“, *genou* „колени“, *cas* „случай“, *gare* „вокзал“; и это является правилом алфавита, совершенно не зависящим от написания тех или иных конкретных слов. Но в слове *femme*, произношение которого русскими буквами можно было бы изобразить

„фам“, пишется *e* вместо *a* исключительно в силу правила второй категории, т. е. в силу истории этого слова, происходящего от латинского *femina*, и никак нельзя сказать, что буква *e* перед *tt* вообще произносится, как буква *a* (ср. слова *lemme*, *gemme*, где буква *e* имеет обычное для этого положения значение). В немецком языке, кроме случаев, аналогичных русским в области согласных, имеются и другие, аналогичные случаям различия старого *ъ* и *e* в дореформенном русском правописании: так, немецкие сочетания *aa* и *ah* по правилам первой категории оба обозначают «а» долгое, но в одних словах пишется *aa*, например *Aal* „угорь“, а в других — *ah*, например *kahl* — „голый, лысый“; и это имеет место уже согласно правилам второй категории. Подобных случаев особенно много в английском языке: так, «i:» (долгое) может быть изображено через *e* в открытых на письме слогах, через *ee*, через *ea* и через *ie* (*these* „эти“, *feel* „чувствовать“, *speak* „говорить“, *chief* „вождь, главный“) и т. д.

Зная правила первой категории, можно вполне точно писать все слова данного языка, хотя это будет выглядеть с точки зрения традиционного письма очень безграмотно, а потому окажется очень трудным для чтения и понимания. Однако, если бы правописание того или другого языка было бы чисто фонетическим, то запись по правилам первой категории считалась бы вполне грамотной, поскольку никаких правил второй категории и не существовало бы в этом языке*.

Вот пример такой записи в применении к русскому языку:

В одной из аддалённых улиц Масквы, ф серам доме з белыми калоннами, антресолю и пакривифшымся балконам жыла некагда барыня, вдава, акружонная многачисленной дворней. Сынавья ее служыли ф Петербурге, дочери вышли замуш; ана выежжала ретка и уединённа дажывала паследнии годы сваей скупой и скучяющей (= скучяющей) старости. День её, нерадастный** и ненастный**, давно прашол, но и вечер её был чернее ночи***.

Вот пример такой записи в применении к французскому языку:

Il è cinq (=sink) eur (=oeur) du soir. On lé voi tou lé trois remué au (=ô) fon d**** la tranché (=trenché) sombre(=sonbr).

Вот этот текст в обычном написании:

Il est cinq heures du soir. On les voit tous les trois remuer au fond de la tranchée sombre (из *Barbusse*, *Le feu*).

Вот пример аналогичной записи в применении к немецкому языку:

Ess (=äss) scheint (=schaint) jedoch (=jehdoch =jeedoch), dass er (=ehr) seinenn (=sainen) drei (=drai) Kindern seine (=saine)

* Само собой разумеется, что при записи слов другого языка в основном следует пользоваться правилами первой категории (см., впрочем, ниже).

** Возможны и формы *радасный*, *ненасный*.

*** Начало повести Тургенева „Муму“. Знак равенства показывает, что оба написания одинаково возможны.

**** Возможна и форма *de*.

Kleinodienn (=Klainohdienn=Klainoodienn), dass Schwert, dass Horn unt den (=deen=dehn) Ring zurückließ (=zührückließ = zuurückließ = zurückließ).

Вот этот текст в обычном написании: Es scheint jedoch, daß er seinen drei Kindern seine Kleinodien, das Schwert, das Horn und den Ring zurückließ (из Heine).

Спрашивается, как называть правила только что выясненных двух категорий. Проф. Бодуэн де Куртенэ называл правила первой категории „правилами графики“. Хотя слово „графика“ и может быть понято в смысле „внешняя форма букв“, однако я решил все же предпочесть термин Бодуэна термину „правила алфавита“, так как этот последний несколько сужает понятие, которое здесь имеется в виду. Что касается правил второй категории, то их проще всего назвать „правилами правописания“, так как при чисто фонетическом письме, как было только что сказано, нет самих этих правил, как нет в сущности никакого правописания или „орфографии“. Дело в том, что самое понятие „правописания“ или орфографии возникает лишь в тот момент, когда по тем или другим причинам начинают писать не так, как говорят, и когда, таким образом, „правильным“ будет то написание, которое условно всеми принято, хотя бы оно и не соответствовало звукам данного слова.

В связи со всем этим первая часть книги „Значение и употребление звуков русского алфавита“ распадается в свою очередь на две: А. „Русская графика“ и Б. „Русское правописание и его принципы“.

Однако прежде чем перейти специально к правилам русской графики, необходимо осветить три вопроса, имеющих большое значение для всех дальнейших рассуждений: 1) вопрос о семантизации звуковых различий, в связи с чем стоит вопрос о том, что следует понимать под отдельным звуком речи; 2) вопрос о разных стилях произношения; 3) вопрос об отношении орфоэпии к орфографии.

В связи с первым вопросом полезно сказать несколько слов и о научной фонетической транскрипции.

Семантизация звуковых различий

Не всякое звуковое различие используется в языке в целях взаимопонимания: противоположения баса и тенора, хриплого и чистого голоса, громкого голоса и шепота и т. п., хотя и могут о чем-то сигнализировать слушателям, но в русском языке не соединены ни с какими языковыми, смысловыми противоположениями. Наоборот, противоположение падающей и восходящей интонации во фразах *Приехал.* и *Приехал?* ассоциировано с противо-

* Термин „правописание“ есть точный перевод греческого термина „орфография“.

положением утверждения и вопроса. Это противоположение, как говорил Бодуэн, семантизовано* (в последнее время по почину Пражского лингвистического кружка такое противоположение стали называть фонологическим), т. е. осмыслено. Понятие семантизации является основным понятием языкознания: это то, что делает языковыми явления, не имеющие к языку никакого отношения. Так, противоположение красного и зеленого цветов семантизовано в железнодорожном деле и является зачаточным элементом зрительного языка, который в морской сигнализации достиг значительной степени развития.

С этим понятием тесно связано и понятие отдельного звука речи. Дело в том, что в речевом потоке объективно наблюдается крайнее разнообразие звуков, которого мы нормально, однако, не замечаем, воспринимая как одинаковое довольно разное звучание. В самом деле то, что мы считаем за один звук «т», будет чувствительно разным перед *a* и перед *y*, например в словах *та* и *ту*: в последнем случае он будет слегка огублен, а в первом нет (в этом всякий может легко убедиться, произнося эти слова перед зеркалом). Подобное же различие наблюдается между начальным и конечным *t* в слове *тот*: «т» оказывается огубленным и перед русским *o*, которое начинается с очень короткого элемента «у» и может быть обозначено как «yo». Кроме того, между двумя *t* в этом последнем слове имеется еще и то различие, которое обусловлено слоговым строением: всякий согласный в начале слога произносится иначе, чем в конце его (см. ниже, стр. 160). Если обратиться к гласным, то увидим, что их качество очень зависит от окружающих согласных: то, что мы считаем за одно и то же «а» между двумя переднеязычными, например в *рада*, произносится на самом деле совсем по-другому, чем между двумя губными, например *баба***.

Различие гласных перед твердыми и перед мягкими согласными, например, в словах *стал* и *стали*, *быт* и *быть*, *села* и *сели* давно подмечено и очень слышно даже и для неопытного уха. Такое же различие наблюдается и при *и*, например, в словах *бит* и *бить*. Менее заметны, хотя все же имеются различия при *o* и *y* в этом же положении. Не менее заметны различия, зависящие от ударения: два *a* в слове *сада*, два *и* в слове *видит* качественно не тождественны, хотя мы этого нормально не замечаем. Почему же нормально мы не замечаем этих различий и вполне отождествляем такие разные звуки, как например «е» в словах

* Бодуэн говорил семантизовано или морфологизовано, имея в виду такие случаи, когда то или другое звуковое различие соединено с различием морфологическим. Однако без семантики нет морфологии, а потому термин „семантизация“ вполне может покрывать и понятие „морфологизация“.

** Разница эта показана мною экспериментально в моей книге „Русские гласные“ (1912), но при известной тренировке может быть воспринята на слух и мускульным чувством.

сел и *сели*? Ответ очень прост: потому что эти различия вовсе не семантизованы, потому что по-русски нельзя себе даже представить двух слов, которые бы отличались друг от друга, например, лишь качеством двух «е», как это имеет место во французском, где, например, *pré* („луг“) с закрытым *e* отличается от *prêt* (с непроизносимым *t*) „готовый“ с открытым *e*. Мы даже затрудняемся воспроизвести в отдельности различие наших двух «е», хотя оно значительнее различия двух французских «е», нашедшего себе там даже графическое выражение. Все дело в том, что то разнообразие звуков, о котором говорилось выше, целиком зависит от фонетических условий, и вне этих условий все констатируемые варианты или оттенки звуков не только не встречаются в русском языке, но даже оказываются в отдельности непроизносимыми для русского человека, не получившего специальной фонетической тренировки.

Таким образом, самостоятельными отдельными звуками речи являются далее не делимые общие звуковые элементы, способные в данном языке дифференцировать слова. Эти звуковые элементы реализуются в целом ряде тесно связанных между собой вариантов или оттенков, которые все имеют одну и ту же функцию, а потому в восприятии нормально не различаются и появление каждого из которых целиком зависит лишь от фонетических условий. Профессор Бодуэн де Куртенэ называет подобные общие понятия особым термином — фонемы, и этот термин теперь принят наукой. Термину же звуки речи некоторые исследователи начинают присваивать более общее значение.

Среди вариантов или оттенков каждой фонемы обыкновенно выделяется один, который является как бы типовым их представителем. Нормально это тот вариант, который мы произносим в изолированном виде. Очень часто, говоря о фонеме, имеют в виду не всю группу вариантов или оттенков, но лишь этого типового их представителя.

Из всего сказанного явствует, что всякий практический алфавит должен и может обозначать только фонемы, а отнюдь не их варианты: совершенно очевидно, что для быстреего восприятия текста важны те звуковые различия, которые способны дифференцировать слова, а не те, которые лишь механически возникают при артикуляции в зависимости от тех или других условий произнесения. Многим казалось и кажется, что наше практическое письмо, не обозначая более никаких звуковых нюансов языка, должно считаться неточным. Это настолько не отвечает действительному положению вещей, что скорее можно было бы поддерживать обратное, т. е. что оно было бы неточным, если бы стремилось обозначать все эти нюансы. И это понятно: число нюансов, завися не только от фонетического окружения и от словесного ударения, но и от темпа речи и вообще от общих условий говорения (вдвоем с товарищем, при официальном разговоре, в гостиной, на митинге и т. д. без конца), может быть бесконечно

велико, и нет никаких объективных оснований для решения вопроса о том, какие из них следует отмечать и какие нет.

Истина состоит в том, что алфавиты всех языков так или иначе стремятся обозначать все фонемы данного языка и никогда не изображают их вариантов или оттенков.

Научная фонетическая транскрипция

Фонетической транскрипцией называется запись звуков того или другого отрезка речи по правилам какой-либо определенной графики, но без соблюдения каких бы то ни было правил правописания. В этом смысле отрезки на русском, французском и немецком языках, данные выше, могут считаться образчиками. Научность ее зависит от того, насколько правила данной графики удовлетворяют некоторым определенным требованиям, которые сводятся к следующему: 1) каждый отличаемый в данном языке звук должен иметь свой особый знак или по крайней мере специальный вариант того или другого знака; 2) для одного и того же звука не должно быть больше одного знака; 3) каждый знак или его вариант должен употребляться только в одном значении.

Все остальное (в том числе и самый алфавит) принципиально безразлично. Русский алфавит вполне может быть положен в основу транскрипции, но правила русской графики, хотя и достаточно точны для научной транскрипции, однако слишком сложны, а главное, как увидим дальше, не удовлетворяют требованию пункта 1.

Однако в дальнейшем, имея в виду читателей-нелингвистов, мы будем все же пользоваться для фонетических транскрипций и русским алфавитом, и русской графикой, введя, однако, вслед за сербской вуковицей * знак *j* для йота (подробнее см. ниже) и тем уничтожив двусмысленность букв *e*, *ё*, *ю*, *я*. Подобную транскрипцию мы будем всегда включать в кавычки „ “.

Наряду с такой транскрипцией мы будем употреблять для читателей-лингвистов транскрипцию, основанную на международном фонетическом алфавите, с тою целью, чтобы резче отличать русские буквы и их ассоциации от русских звуков. Латинская транскрипция всегда будет заключена в кавычки « ».

Научная транскрипция может быть двух родов: одна, отмечающая лишь фонемы данного языка, и другая, регистрирующая всяческие оттенки звуков. Первую можно назвать фонематической (или фонологической), а вторую фонетической. Фонетическая транскрипция всегда производит более или менее импрессионистическое впечатление, так как степень ее точности совершенно произвольна и зависит от изощренности наблюдательных способностей автора, от ориентации его интересов и от других случайных причин.

* Сербский алфавит, введенный знаменитым сербским писателем и филологом Вуком Стефановичем Караджичем.

Разные стили произношения

Для того чтобы определить состав фонем русского литературного языка и особенно для того, чтобы правильно понять в связи с этим явления его вокализма, необходимо иметь в виду различия в степени ясности и отчетливости нашей речи. Совершенно очевидно, что тут возможно бесконечное число переходных ступеней, начиная от абсолютной ясности и четкости (например, при произношении по слогам) до небрежной скороговорки, когда все неударенные слоги наполовину съедаются.

Практически достаточно различать два типа произношения, которые назовем один — полным стилем, а другой — разговорным.

Полный стиль свойственен публичной речи в очень большой аудитории, например на митинге, когда для того, чтобы быть всеми услышанным и понятым, приходится четко произносить как ударенные, так и неударенные слоги. При этом эти последние слегка протягиваются и произносятся более отчетливо, чем обыкновенно, хотя различия между ударенными и неударенными гласными всегда все же сохраняются. Этот же полный стиль постоянно употребляется нами и в повседневной жизни, но только не сплошь, а в отдельных фразах или их частях, часто даже в частях слов. Это бывает, когда мы хотим что-либо подчеркнуть, на что-либо обратить внимание, когда нас кто-либо плохо слышит или не понимает и т. п. Например, на вопрос *И как же вы на это реагировали?* ответ может быть: *Пол-ней-шим равнодушием* (что в печати может быть иногда выражено разрядкой). Фраза *ах ты голова!* может быть произнесена в разговорном стиле с сильным ударением только на последнем слоге слова *голова*, а может быть произнесена и так: *ах ты га-ла-ва!* — с выделением слова *голова* для усиления укоризны.

Разговорный стиль — понятие, конечно, гораздо более условное. Различные формы разговорного стиля составляют предмет ученых наблюдений и не так легко поддаются фиксации. Однако при большой наблюдательности можно уловить нечто среднее, свойственное спокойному, несколько замедленному и не чересчур интимному разговору, не состоящему из коротких эмоциональных реплик. Неударенные гласные разговорного стиля подвергаются сильной количественной и качественной редукции и представляют очень пеструю картину. Особенно сложные изменения происходят в послеударенных слогах, начинающихся на мягкие согласные или на «j».

Вот образчик русской транскрипции полного стиля:

„ва-днóй-из-ад-да-лѐн-ных ў-лиц Ма-сквѣ фсѣ-рам дó-ме збѣ-лы-ми ка-лѓн-на-ми а-нтре-сѓль-ју и-па-кри-вѣф-шы-мся-ба-лкѓ-нам, жы-лѧ нѣ-ка-гда-бѧ-ры-ня вда-вѧ а-кру-жѓн-на-ѧ мнѓ-га-чѣс-ле-ннай-двѓр-ней“.

То же в международной фонетической транскрипции:

«va-¹dnoj iz-ad-da-¹lon-n¹yx ¹ul'ic ma-¹skvy | ¹fs'e-ram ¹do-m'e § ¹zb'e-
ly-m'i-ka-¹lon-na-m'i § a-ntr'e-¹sol'-ju § i-pa-kr'i-¹vif-šy-ms'a ba-¹lko-n-am |
žy-¹la'n'e-ka-gda ¹ba-ry-n'a § vda-¹va § a-kru-¹žon-na-ja ¹mno-ga-¹čis-l'e-
pnaj ¹dvor-n'ej ||».

Вот образчик сильно упрощенной русской транскрипции* того же отрывка в разговорном стиле:

„вǎ-днó-йз-ы-ддǎ-лѐнн-ых-ул'-й-цмǎ-сквы, фсѐр-ы-мдó-мѐ збѐл-ы-
мй-кǎ-лónн-ы-мй ѐн-три-сóль-жy й-пы-крй-вйф-шы-мсий-бǎ-лкóн-ым...“

То же в международной фонетической транскрипции:

«vǎ-¹dno-i-zə-d:ǎ-¹lon:-əx-¹ul'-i-cmǎ-¹skvy | ¹fs'er-ə-¹mdo-m'e § ¹zb'ɛl-
ə-m'i-ka-¹lon:-ə-m'i § ǎn-tr'i-¹sol'-ju § i-pə-kr'i-¹v'if-šy-ms'i-bǎ-¹lkonəm...»

Самое главное, что надо до конца понять и оценить при сличении обеих транскрипций, это то, что наша грамматика, а также наше письмо целиком базируется на полном стиле. В самом деле, формой русского языка будет „вадној“, а не „вадно“, как это произносится в сочетании со следующим *из* (см. выше транскрипцию разговорного стиля) и даже „в адној“ (а не вместе), поскольку говорится „в этај адној“, а не „вэтај вадној“ (это последнее не всегда отражается в фонетике полного стиля, однако в полном стиле „из аддалѐнных“, а не „изаддалѐнных“). Точно так же и для грамматики, и для письма следует исходить из формы „ф сѐрам“, а не „фсѐрым“. И даже основной, например, будет форма полного стиля „под дóмам“, а не разговорная „паддомм“ (со слоговым „м“) и т. д., и т. д.

Отношение между письмом и орфоэпией

Поскольку русское письмо является фонетическим, постольку в его основе не может не лежать какой-то определенный устный язык: мы не можем одно и то же написанное слово читать или как *пруд* или как *ставóк*, как это возможно при иероглифическом письме. Однако и наше письмо допускает разное „произношение“. Это положение вещей характерно для всех больших литературных языков, но особенно ярко выражено в немецком, где иностранец, даже хорошо знающий немецкий язык, часто с трудом понимает своего собеседника, хотя и говорящего на литературном языке, но с сильным местным акцентом (произношением).

На понятии „произношения“ необходимо несколько остановиться, чтобы выяснить, когда мы должны говорить о том или ином произношении одного и того же звукового комплекса, а

* Знак краткости над гласной этой транскрипции обозначает относительную краткость, а главное — разную степени редуцированность данного гласного. Поэтому „й“ вовсе не равно «j».

когда просто о другом звуковом комплексе. В принципе как будто очевидно, что о „произношении“ говорят лишь в тех случаях, когда и в необычно произносимом все же узнается тот или другой нормальный звуковой комплекс. Так говорят о разном произношении буквы *щ*, т. е. того звукового комплекса, который обозначается этой буквой — или как „шьчь“, или как „шьшь“ (*щи* — „шьчи“ или „шьши“, *щука* — „шьчюка“ или „шьшюка“ и т. д.); о разном произношении звукосочетания „чи“, например, в словах *чисто*, *чин* и т. д. — или так, как пишется, или как „чы“ („чыста“, „чын“); о разном произношении слов с неударенным орфографическим *о*: „карова“ или „корова“, „гара“ или „гора“ и т. п.

Говорят о дефективном произношении, когда слова *лодка*, *лапа*, *козел* и вообще звук „л“ выговаривают „ў́отка“, „ў́апа“, „казёў“ („ў́“). О том же можно, пожалуй, говорить, когда маленькие дети выговаривают те же слова „лётка“, „ляпа“, „козёл“ с мягким *л*. Однако едва ли будем говорить об ошибках произношения, если бы кто-нибудь говорил *клига* вместо *книга*, *д́она* вместо *д́ома*, *шкорость* вместо *скорость* и т. п. По-видимому, под вариантами „произношения“ мы подразумеваем только какие-либо регулярно встречающиеся отклонения от нормы, ибо только такие отклонения гарантируют нам возможность идентификации материально не совпадающих звуковых комплексов.

Из сказанного прежде всего вытекает, что для русского литературного языка все же существует какая-то норма произношения. Эту норму принято называть литературной, и на нее-то ориентируется наше письмо.

Внутри этой литературной нормы существует некоторое количество равноправных вариантов. Все прочие варианты ощущаются или как диалектные (например, произношение на *о*), или как дефективные (например, „ў́“ вместо „л“ и т. п.), или как детские (например, так называемое „сюсюкание“).

Само собой разумеется, что наше письмо должно ориентироваться только на литературные варианты, а не на диалектные.

Для большей ясности приведем литературные и нелитературные (последние взяты в скобки) варианты слов *щи*, *дождь* (в именит. и род. пад. ед. ч.) и *вижжат*:

„шчи“	„дошчь“	„дажджя“	„вижджят“
„шьчи“	„дошьчь“	„даждьжя“	„виждьжят“
„шьши“	„дошьшь“	„дажьжя“	„вижьжят“
„(шшы)“	„(дош)“	„(дажжа)“	„вижжат“
„(шти)“	„дошть“	„даждя“	„(виждят)“

Что касается литературных вариантов, то, строго говоря, мы должны были бы допускать соответственные варианты и в нашем письме. Однако поскольку единообразие письма имеет громадное практическое значение, постольку приходится выбирать в каждом отдельном случае один из существующих литературных вариантов

произношения как основу нашего письма: *дверь, Тверь, зверь* и т. д. или *дъверь, Тъверь, зъверь**; *фонарщик, сварщик, спорщик* и т. д. или *фонарьщик, сварьщик, спорьщик*; *фиалка, колониальный* и т. д. или *фиялка, колонияльный*; *пианино, миньютюра, материалы* и т. д. или *пьянино, миньятюра, матерьялы*; *скучный, конечно, молочный* или *скушный, конешно, молошный*.

Само собой разумеется, что наиболее трудно разрешимые случаи будут относиться к неударяемому вокализму в полном стиле. В самом деле, какой вариант произношения следует предпочесть: *плясать, памятник, заяц, серебряный, ветряный* и т. д. или *плесать, паметник, заец, серебряный, ветреный*? *Варево, курево, крошево, мелево* или *вариво, куриво, крошиво, меливо* и т. п.

Надо подчеркнуть, что подобные вопросы должны во всяком случае решаться не в орфографическом порядке, а в плане „орфоэпии“, т. е. в плане вопроса правильного произношения. Может показаться, что такое разделение является своего рода ученой „канцелярщиной“, но, конечно, дело не в названии, а лежит гораздо глубже.

Письмо все же является по отношению к языку чем-то внешним, не относится, так сказать, к его существу. Поэтому, организуя наше письмо, устанавливая и реформируя нашу орфографию, мы вправе руководствоваться часто практическими мотивами: легкостью усвоения письма, легкостью и быстротой чтения и схватывания смысла читаемого. Можно даже сказать, что эти мотивы должны быть решающими в деле орфографии. Вопросы же произношения являются уже вопросами самого языка и его жизни. Я отнюдь не склонен фетишизировать язык; вслед за Бодуэном** я не думаю также, чтобы жизнь языка не могла подвергаться в той или другой мере нашему сознательному воздействию. Но как раз это и обязывает нас к максимально обдуманым действиям по отношению к языку.

Как это явствует из новейшего языкознания, все элементы языка образуют единую систему и так связаны друг с другом, что любое изменение какого-либо из них вызывает те или другие изменения в других частях системы. Это справедливо, конечно, и по отношению к произношению. Поскольку, однако, письмо поддерживает тот или иной вариант произношения, постольку оказывается и оно влияет на жизнь языка***, особенно в современных условиях всеобщей грамотности и исключительно большой роли

* При этом вовсе не обязательно, чтобы все случаи одной и той же категории произносились одинаково, т. е. вполне можно условиться произносить *Тверь, дверь*, но *зверь*; *фонарьщик*, но *сварщик* и т. п., ибо так бывает и в жизни.

** Ср. его полемику с Бругманом на этот счет.

*** Здесь я не касаюсь большого и мало обследованного вопроса о громадном влиянии письма на синтаксис, о формировании специального письменного языка и влиянии этого последнего на устный и т. п.

письменного языка в нашей жизни (многие языковые факты мы познаем главным образом из книг и газет).

Между прочим, отсечение одного из вариантов произношения может обеднить язык или во всяком случае препятствовать его семантическому росту, так как этот последний часто происходит путем насыщения содержанием вариантов слов или форм, получившихся на разных путях.

Так, формы с беглым *и* и без него, помимо того, что в руках поэтов дают материал для звуковых эффектов (большая или меньшая сонорность слова и разная ритмика), зачастую семантически дифференцированы или по крайней мере готовы принять на себя такую функцию: *Мария* и *Марья*, *София* и *Софья*, *варение* (= варка) и *варенье*, *(не) имение* и *(хорошее) именье*, *бытие* и *житье-бытье*, *(украшенный прелестными) миниатюрами* и *миньятурная фигурка* и т. д.

Поэтому, хотя в общем и совершенно справедливо, что письмо является чем-то внешним по отношению к языку, однако выбор для него того или иного варианта произношения бывает иногда вовсе не безразличен и может в некоторых случаях иметь решающее значение для судьбы языка. Поэтому-то выбор этот и не может производиться в рамках упорядочения или реформы орфографии для ее упрощения или облегчения: это дело какого-то более широкого обсуждения вопросов орфоэпии данного языка, т. е. единства его произношения. Это обсуждение должно вестись под флагом рационализации устного языка вообще, что, конечно, очень обязывает лиц, участвующих в подобном обсуждении и принимающих какие-либо решения по этому поводу. Между тем у нас в орфографии очень часто попутно решаются чисто языковые вопросы и, в частности, даже судьбы русского склонения и спряжения. Так, из двух вариантов окончания предложного пад. ед. числа имен существительных на безударное *-ье* (не *-ьё*) и *-ьи* (*в счастье*, *на побережье* или *в счастье*, *на побережья* и т. п.) обыкновенно выбирается без дальних разговоров вариант *-ье* как более легкий со школьной точки зрения. Между тем в языке между ними происходит борьба, и окончание *-ьи*, по-видимому, побеждает благодаря своей дифференцирующей роли, помогающей отличать направление действия и местонахождение: *Я верю в счастье* и *В счастье люди часто забывают о других*; *Я еду на побережье Черного моря* и *Я живу на побережья Черного моря*; *Она впала в забытье* и *Она была в забытьи*.

Из двух вариантов окончания 3-го лица мн. числа глаголов II спряжения с ударением не на окончании *-ат* и *-ут* (*стóят*, *просят*, *мочат*) выбирается традиционный на *-ат*, чем искусственно поддерживается его жизнь в языке*.

* Из сказанного отнюдь не следует, чтобы я был за немедленную реформу орфографии в этом смысле: множество практических соображений этому препятствует. Но принципиально я за этот вариант устного языка, а следовательно, и за соответственное написание.

Между тем естественный ход развития языка, по-видимому, ведет именно к *-ут*, как к более четкому и характерному признаку данной морфологической категории: неударенное *-ат* в разговорном стиле смешивается с *-ит* 3-го лица ед. числа. Любопытно отметить, что в полном стиле мы вполне допускаем произношение *месяц, заяц, память* вместо *месяц, заяц, память*; формы же *просет, возет, молет* нам кажутся совершенно невозможными: косвенно это является доказательством нереальности форм *просят, возят, молят* в литературном устном языке.

Кроме этих и целого ряда других крупных и более мелких явлений произношения, перед русской орфографией стоит большой вопрос в выборе „экающего“ или „икающего“ произношения вообще, т. е. произношения, различающего в полном стиле гласные «е» и «і» в неударенном положении или смешивающего их в гласном «і»: *пелёнка* или *пилёнка*, *берёт* или *бирёт*, *педагог* или *пидагог*, *пеклеванный* или *пикливанный*, *теперь* или *типерь*, *переплыть* или *пирплыть*, *моет* или *моит*, *колет* или *колит*, *учитель* или *учитиль*, *предобрый* или *приобрый*, *преступная* или *приступная*, *Сонечка* или *Соничка*, *песенка* или *песинка*, *Петенька* или *Петинька*, *Леленька* или *Лелинька* и т. д., и т. д. Сейчас „иканье“ в полном стиле считается диалектным произношением, как это явствует, между прочим, из тургеневских „Певцов“, где орловское произношение мальчугана в конце рассказа четко характеризуется следующей фразой: „Тебя тятя высечь хочи-и-ит“.

Однако пополнение населения Москвы икающими элементами грозит несколько спутать положение вещей. Сейчас, если бы кто-нибудь стал петь с „икающим“ акцентом *Пйчаль моя свйтла* или *Длй бйрйгов отчизны дальной*, то вызвал бы всеобщее возмущение, хотя в разговорном стиле именно так и произносится. Благодаря такому положению вещей всем изучающим русский язык приходится усваивать два стиля произношения, зачастую расходящихся не только в оттенках фонем, но и в самих фонемах (ср. транскрипции), что едва ли можно считать рациональным. Задача языковой политики в этой области состоит, стало быть, либо в том, чтобы полный стиль, а за ним и письмо подтянуть к икающему произношению (и тогда диалектным будет произношение *высечь хоче-е-т*, а также пение с сохранением неударенных *е*, т. е. так, как сейчас пишется), либо в том, чтобы и разговорный стиль подтянуть под полный и под существующее письмо. Я полагаю, что выгоднее стремиться к последнему, так как первый путь ведет к полному разрыву литературной традиции, что едва ли желательно, особенно в настоящее время, когда русский язык изучается миллионами наших националов и представляет собою большую культурную ценность не только в его современном виде, но и со всеми накопленными в нем ценностями. Думать же, что второй путь невозможен ввиду стихийности процесса развития произношения в разговорном стиле, едва ли приходится:

значение письменного языка в его орфографической одежде настолько велико в наше время, что имеет решающее значение для развития языка вообще, тем более что в состав русской интеллигенции все время вливаются громадные контингенты лиц, выучивающихся литературному русскому языку через книгу, а не от окружения. На моей даже памяти неударенное *а* после мягких согласных, т. е. орфографическое *я*, начинает вытеснять в полном стиле традиционное *е*: *плясать* вместо старого *плесать*, *клянусь* вместо *кленусь* и т. д.

Если же выбирать второй путь развития, т. е. стремиться к сохранению неударенных *е* и в разговорном стиле*, то важно и в орфографии не делать никаких уступок йкающему произношению. Во всяком случае, все вопросы подобного рода требуют специального обсуждения в плане языковой политики и не могут быть решены попутно с упорядочением орфографии и вне широких языковых перспектив.

К сожалению, вопросы языковой политики у нас до сих пор не стали в порядок дня**, и даже вопросы орфоэпии не выходят за пределы узкого круга специалистов.

А. РУССКАЯ ГРАФИКА, ИЛИ ТЕОРИЯ РУССКОГО АЛФАВИТА

Для того чтобы приступить к формулировке правил русской графики, необходимо прежде всего выяснить звуковые средства, употребляемые в русском языке для различения слов. Сюда относятся словесное ударение, система фонем русского литературного языка, длительность или „количество“ фонем и слоговое строение. Мы начнем с последнего.

Слоговое строение

Всякий речевой поток естественно распадается не на отдельные звуки речи, а на слоги, обуславливаемые последовательными усилениями и ослаблениями звукового ряда; часть речевого потока, начиная с усиливающегося звука и кончая ослабляющимся, и называется слогом***. В связи с этим согласные, стоящие в начале слога, будут „сильноконечными“, т. е. усиливающимися, а стоящие в конце слога — „сильноначальными“, т. е. ослабляющимися.

Ослабления и усиления речевого потока, при недостаточно изоощренном внимании, часто не так легко осознаются в беглой

* Само собой разумеется, что эти неударенные *е* отнюдь не должны быть равны ударенным и произносятся обыкновенно с легким уклоном в сторону *и*.

** В значительной степени благодаря широко укоренившемуся предрасудку о невозможности влиять на естественный ход развития языка.

*** Теория слога принадлежит к труднейшим проблемам фонетики и здесь не может быть полностью развита (ср. сказанное о слоге в моей „Фонетике французского языка“).

речи, так как различия в этой области в русском языке нормально не семантизованы (см., впрочем, сказанное ниже). Однако мы без затруднений делим речевой поток на слоги, когда стараемся говорить особенно членораздельно и вразумительно. Особенно разительно мы это делаем, когда, например, что-либо диктуем людям, которые очень медленно пишут, медленно осознавая звуковую сторону речи.

При таком посложном произношении действуют, по-видимому, следующие правила слогаделения:

1. Если между гласными стоит один согласный, то слоговая граница проходит всегда после гласного: *тра-ва́, го-ро-до́к, по-ро-хо-во́й, ку-ёт* (т. е. *ку-йо́т*), *по́-яс* (т. е. *по́-йас*), *ра-йо́н, ма-йо́р* (см., однако, ниже) и т. п.

2. Если между гласными стоит группа согласных, начинающаяся на «j», то этот последний всегда отходит к предыдущему гласному и образует вместе с ним, таким образом, закрытый (т. е. оканчивающийся на согласный) слог: *пай-ко́-вый, вой-ско-во́й, ко́й-ка* и т. п.

3. Если между гласными стоит группа согласных, не начинающаяся на «j» (причем под группой следует понимать в данном случае и двойной согласный), то первый из них нормально отходит к предыдущему слогу после ударенных гласных и к последующему после неударенных: *ко́л-ба, пя́т-ка, ка́м-ни, ба́н-тик, фа-на́р-щик, пла́к-са, он гра-зи́т-ца, о́т-те-пель, ка́с-са, ва́н-на*, и т. д.; но *ка-лба-са́, на ка-ткэ́, ре-мни́, пла-кси́-вый, а-тца́, ка-сси́р, ма-ссов-ка, ка-ре-ннóй* и т. д. Еще примеры на все правила сразу: *е-сте́с-тве-нный, ка-кти́с-тый, зо́н-ти-чный* и т. д.

Малейшее усиление какого-либо неударенного слога превращает его при посложном произношении в ударенный и привлекает к нему начальный согласный последующей группы (причем в сущности, конечно, искажается фонетическая перспектива слова). Подобное усиление связывается с нашим стремлением подчинить слоговое строение делению на морфологические части. В связи с этим чаще всего выделяются очевидные префиксы, оканчивающиеся на согласные, и подчеркивается тоже наиболее очевидное деление на корень и суффикс в тех случаях, когда первый оканчивается на согласный. Примеры: *рас-пи-са́ть* (*рас-* — префикс), *под-пе-ре́ть* (*под-* — префикс), *маль-чу-га́н* (*маль-* — коренная морфема), *вы-гон-ка* (*гон-* — коренная морфема, *-ка* — суффикс).

С другой стороны, при посложном произношении мы можем слегка протягивать гласные, делать все слоги открытыми (за исключением, конечно, слогов, оканчивающихся на «j»): *е-сте́-стве-нный, ра-спи́-ше-тца, о́-тте-пель* и т. д. Все эти колебания возможны, конечно, только благодаря тому, что слоговое строение внутри слова не семантизовано в русском языке (см. ниже, стр. 162).

При перечисленном произношении разговорного стиля правила слогаделения будут сложнее и до сих пор совершенно не изучены.

Правила посложного произношения, по-видимому, сохраняют свою силу и в разговорном стиле, поскольку не противоречат нижеследующему правилу.

В разговорном стиле и одиночный согласный, и группа согласных, стоящих между гласными, целиком отходят к предыдущему слогу, если последующий слог содержит в себе сильно редуцированный гласный*: *ро́з-ъ-ва-я, ка́ст-ъ-ва-я, ка́сс-ъ-ва-я, гал-ъ-ва-ло́м-ка, в ма́сс-ъх* (но *ма́с-са*), *А́нн-ъ-н-ский* (но *А́н-на*), *го́л-ъ-ву* (но *гъ-ло-ва́* при *гал-а-ва́* с добавочным начальным ударением) и т. п.

В противоположность тому, что наблюдается внутри слова, на стыке слов оказывается, что и отдельный согласный, и группа согласных могут в потоке речи и замыкать последний слог первого слова, и начинать первый слог второго слова, благодаря чему противоположение сильноконечных и сильноначальных согласных оказывается семантизованным в этом положении, причем сильноконечные согласные сигнализуют начало слова, а сильноначальные — его конец. Само собой разумеется, что это в конце концов помогает узнавать и самые слова. Вот несколько примеров: *протíл ось* (как долг) | *протí лось* (так как он ушел); *хóдит óколо* | *ходí то́лком*; *горáст** áло* (кажется) | *горá стáла (áлой)*; *кра́й уха* | *краю́ха* и т. д. Ошибки в слоговом качестве согласного, стоящего на стыке слов, очень остро ощущаются, затрудняя правильное восприятие, например: *вídи ша́рку* вместо *вídишь áрку*, *ку́ стака́ции* вместо *ку́ст ака́ции*, *водáм óря* вместо *водá мо́ря*, *кра́яи óля* вместо *края́ по́ля* и т. п. На стыке слов противопологаются не только конечносложные и начальносложные группы согласных целиком, но и разделение этих групп на два слога, причем под группой следует разуметь и двойные согласные. Так, группа *ст* может быть или целиком начальносложной, или целиком конечносложной; или *с* может быть конечносложным, а *т* — начальносложным: *ку́ст ака́ции* | *на чекú стáла* | *вкúс тáлька*; *вся ссо́ра* | (он не обучает) *ма́сс охóте* (в абсолютном исходе будет — *он не обучает мас*). Ср. еще такие примеры, как *да́ йóду* | *да́й óду* | *да́й йóду*. В конце концов в этом положении не невозможны тройные согласные и даже четверные: *прилег к концу*, *водовоз ссору затеял*, *недопущение масс ссориться*.

Раз какое-либо фонетическое противоположение где-либо семантизовано, то оно уже может применяться и там, где оно фонетически не обусловлено. Этим объясняется, почему в посложном произношении и неударенный префикс, вопреки фонетическому правилу (п. 3), может перетягивать к себе первый согласный группы, если этот согласный с морфологической точки зрения относится к префиксу. Иначе говоря, этим объясняется, почему

* По существу это не что иное, как расширение правила п. 3.

** Т. е. *горазд* — народное слово в смысле „очень“.

нормальный в этих случаях начальнoсложный согласный может произноситься как конечнoсложный. Примеры: *рас-тá-ять*, *рас-те-сáть*, но *Ро-стóв*, *ро-стóк*; *под-рýть*, *под-валítь*, но *по-дрý-га*, *по-двáл* (в этом последнем случае префикс уже не очень чувствуется) и т. п. Сюда же относится и такое произношение, как он *рас-ссо-ри-тца* (с тремя *с*).

Подобное слоговоеделение понемногу проникает и в разговорный стиль, и этим объясняется возможность таких произношений, как *над-индивидуальный* с *и*, а не с *ы* (о чем см. ниже).

Наконец, прониканием семантизованного на стыке слов противоположения начальнoсложных, т. е. сильноконечных, и конечнoсложных, т. е. сильноначальных, согласных объясняется возможность таких слоговыхделений, как *рай-óн*, *май-óр* и под. вместо нормальных для русского языка *ра-ён*, *ма-ёр*. Эти странные с исторической точки зрения произношения возникли под влиянием написания в словах, а главным образом зрительным — через письмо. Но, конечно, подобное фонетически не мотивированное перенесение той или другой особенности произношения возможно только, если оно семантизовано.

Словесное ударение

Как правило, каждое знаменательное слово русского языка и каждая его форма характеризуется „ударением“ на том или ином определенном слоге. Под ударением в традиционной русской грамматике обыкновенно понимают произношение одного из слогов слова с большей силой, чем другие: слог ударенный является, таким образом, самым сильным слогом в слове. Хотя это и совершенно справедливо, однако не исчерпывает сути дела. Во фразе *Брат вдруг взял нóж* имеется четыре односложных слова и четыре ударенных слога, так что никакой речи о сравнительной силе слогов как сущности словесного ударения в данном случае быть не может. И действительно, сущность русского ударения, по-видимому, состоит в особом напоре на начало ударенного согласного, сопровождающемся сильной напряженностью всей артикуляции. Любой гласный может и в изолированном виде быть произнесен с таким напором и без него, т. е. как ударенный и как неударенный. При продлении, поскольку особый напор характеризует лишь начало ударенного гласного, всякий ударенный гласный кончается как неударенный. С изменением напряженности артикуляции связаны и определенные качественные различия между ударенными и неударенными гласными. Эти различия могут в известных условиях заменять противоположение ударенности и неударенности.

В разговорном стиле гласные неударенных слогов количественно и качественно редуцируются в разной степени в зависимости от определенных фонетических условий согласно правилам, которые будут изложены ниже. В некоторых случаях при редукации

фонемы могут переходить одни в другие. Однако в полном стиле все эти редуцированные гласные восстанавливаются, но никогда не получают ударения, а в связи с этим и качественно никогда не смещиваются с ударенными гласными.

Словесное ударение семантизировано в русском языке в трех направлениях. Во-первых, поскольку им снабжается каждое знаменательное слово, постольку оно выражает делимость речевого потока на слова или на группы слов с одним знаменательным словом в центре каждой из них: *мо́й бра́т прие́хал вче́ра вече́ром до́мой; мы́ нашла́ пя́ть грибов; на бере́гу ре́ки росло́ не́сколько со́сен и дубов; говори́л он о́чень долго, так что все́м наскучи́л.*

Во-вторых, будучи абсолютно свободным, т. е. не связанным никакими фонетическими правилами, словесное ударение в русском языке характеризует слова как таковые, т. е. с точки зрения их значения: если во фразе у всех слов передвинуть ударения на непривычные места, то такую фразу будет трудно понять. В русском языке можно приводить сотнями слова, которые отличаются друг от друга только ударением, и поскольку оно почти что не нашло себе выражения на письме, постольку эти слова оказываются зрительными омонимами: *за́мок и замо́к; му́ка и мука́, по́лки и полки́, по́том и пото́м* и т. д., и т. д.

В-третьих, поскольку русское словесное ударение оказывается не только свободным, но и подвижным, т. е. меняющим свое место при изменениях одного и того же слова и также при словопроизводстве, постольку оно имеет и грамматическое значение: оно, как говорят, является грамматикализированным. Примеры на роль ударения при словоизменении: *го́рода | городá, до́ма | дома́, стена́ | стéны, вода́ | во́ду, гора́ | го́ру, ношу́ | но́сит, ловлю́ | ло́вит, свечу́ | све́тит* и т. п. Примеры на роль ударения при словопроизводстве: *но́с, но́са | носо́к (хотя но́сик); во́з, во́за | во́зок (хотя во́зик); го́д, го́да | годо́к (хотя го́дик); гна́ть, пригна́ть, догна́ть | вы́гнать; да́ть, прида́ть, отда́ть | вы́дать* и т. п.

Длительность отдельных звуков

Длительность отдельных гласных колеблется в речи в очень широких пределах, но зависит исключительно от фонетических условий. В частности, в разговорном стиле ударенные гласные при прочих равных условиях в среднем в полтора раза длительнее неударенных, так что эта относительная долгота может даже являться одним из признаков ударенных гласных*. Таким образом, систематизованных противоположений гласных по длитель-

* Подробно обо всем этом смотри мою книгу „Русские гласные в качественном и количественном отношении“, СПб, 1912.

ности, подобных тем, которые имеются в чешском, латышском или немецком, в русском абсолютно нет.

Длительность согласных тоже колеблется в зависимости от фонетических условий. Однако возможно противоположение более длительных согласных с нормальной длительностью и в совершенно одинаковых фонетических условиях, например: *стенной* | *стеной*, *странн* | *стран*, *ссора* | *сора*, *подд* | *под*, (будет) *коситься* (т. е. „косища“) | *косица*, (много раз) *морозенный* | *морозеный* (картофель), (вчера) *писанная* | *писаная* (красавица) и т. п.

Что длительные согласные с чисто артикуляционной точки зрения вовсе не являются „двойными“, в этом не может быть никакого сомнения, тем более, что это подтверждается экспериментальными данными. Однако в целом ряде случаев длительные согласные относятся к двум разным морфемам: *под-д*, *стен-н-ой*, *спин-н-ой*; даже такое слово, как слово *длинна* (краткая форма ж. р. прилагательного *длинный*), может быть понято как *длин-н-а*, т. е. как образованное от слова *длин-а* посредством суффикса *-(е)н*; слово (будет) *коситься* морфологически делится — *кос-иц-ца*, причем первое *ц* исторически является продолжателем окончания инфинитива, а второе относится к возвратному суффиксу. Зато в словах *странн-ый*, *ссора-а*, *мороз-енн-ый*, *пис-а-нн-ый* никакая морфологическая граница не проходит сейчас через длительный (долгий) согласный*, и ее уже во всяком случае нет в заимствованных словах *ванн-а*, *касс-а*, *Анн-а*** и т. п.

Спрашивается, в этих условиях имеем ли мы в русском языке дело с длинными (долгими) согласными или с двойными согласными? Надо полагать, что ввиду значительного количества и тех и других случаев русское лингвистическое сознание является несколько неопределенным в этом отношении, что и сказывается в отсутствии единогласия в этом вопросе среди лингвистов. Мне кажется, что так как в целом ряде случаев долгие согласные со всей очевидностью понимаются как „двойные“, то это понимание естественно распространяется и на те случаи, где морфологическая делимость неясна: ее всегда можно предположить в прошлом. Поэтому в конце концов считаю, что семантизованного противоположения согласных по длительности в русском языке также не имеется и что во всех сюда относящихся случаях следует говорить просто о группе повторяющихся согласных***.

* Исторически второе *н*, однако, все же восходит к старому суффиксу *-ьн-*, образовавшему прежде отглагольные прилагательные особого значения как от глагольных основ, так и от причастий страдательных.

** Даже в оригиналах этих слов второй согласный графического происхождения.

*** Тот факт, что „двойные“ согласные являются артикуляторно едиными, не меняет положения вещей, так как и такие группы согласных, как „ст, зд, шт, жд, бм, дн“ и т. п., артикуляторно представляются едиными.

Звуковой состав русского литературного языка

(список фонем)

Согласные

Губные: „п, пь, б, бь, м, мь, ф, фь, в, вь“ = «р, р', б, б', м, м', ф, ф', в, в'».

Примеры: *цеп, цепь; губа, губя* (= „губья“); *тем, темь; шарф, верфь; слава, славя* (= „славья“)* = «сер, сер'; gu'ba, gu'b'a; t'em, t'em'; šarf, v'erf'; 'slava, 'slav'a».

Переднеязычные: „т, ть, д, дь, н, нь, с, сь, з, зь, ш, ж, ц, чь, л, ль, р, рь“ = «t, t', d, d', n, n', s, s', z, z', š, ž, c, č, ʎ, ʎ', r, r'»**.

Примеры: *мыт, мыть; городá, городя́* (= „городья“); *стан, стань; отбрóс, отбрóсь; егозá, егозя́* (= „јэгозья“); *спешá, жужжя́, ловця́, мячя́; мол, моль; спор, спорь* = «мыт, мыт'; gara'da, gara'd'a, stan, stan', a'dbros, a'dbros'; jega'za, jega'z'a, sp'e'sha, žu'žža, ʎaf'sy, m'a'č'i, moʎ, moʎ', spor, spor'».

Среднеязычные: „й“, который в дальнейшем мы будем обозначать через „j“ (ср. сказанное на стр. 167), = «j».

Примеры: *твой* (= „твоj“), *твоя́* (= „тваjá“), *край, край* (= „краjá“); *пой* (= „poj“), *пою* (= „пajú“), *поёт* (= „пajót“), *вой* (= „voj“), *воет* (= „вójэт“)***; *чей* (= „чеj“), *чьи* (= „чьjú“) = «tvoj, tva'ja, kraj, kra'ja, poj, pa'ju, pa'jot, 'vojet, č'ej, č'ji».

Заднеязычные: „к, кь, г, гь, х, хь“ = «k, k', g, g', x, x'»****.

Примеры: *рука́, кот, ткёт****** (= „ткьот“), *рекé* (не *рекэ*), *нога́, Гот, жгёт****** (= „жгьот“), *ногé* (не *ногэ*), *блoхá, блoхé* (не *блoхэ*).

* Написания *губья, славья* и ниже *городья, егозья, ткьот, жгьот* должны рассматриваться как транскрипционные, где *ь* обозначает только мягкость предшествующего согласного и вовсе не является отделительным знаком. (Самый принцип такой транскрипции заимствован из украинского алфавита, где нашему написанию *Псѣд* отвечает написание *Псьол*.)

** О двойных мягких „шьшь“ и „жьжь“ как об особых фонемах русского литературного языка см. стр. 171. О мягких „шь, жь, ць“ как о потенциальных фонемах см. стр. 172.

*** Написание, которое противоречит правилам русского алфавита, поскольку буква *э*, как мы увидим ниже, обозначает твердость предыдущего согласного, а звук „j“ никак не может считаться твердым. Поэтому это написание кажется абсолютно невозможным и здесь фигурирует в качестве условной фонетической транскрипции, где буква *э* имеет значение латинского *e*, обозначая лишь гласный «е».

**** О так называемом фрикативном *г*, как о пережиточной фонеме русского литературного языка см. ниже, стр. 167.

***** Старая форма „тчёт“ представляется диалектной.

***** Конкурирует с „жжёт“, т. е. *жжот*, которое является более литературной формой.

Гласные

Передние: „э, и“ = «е, і». Примеры: *эти, сел* (= „сьэл“); *пэры, сіла*.

Задние губные: „о, у“ = «о, у». Примеры: *о́кна, сон, у́ши, су́кна*.

Смешанный*: „ы“ = «ы». Примеры: *сын, ры́ба*.

Открытый**: „а“ = «а». Примеры: *а́лый, ара́б*.

Замечания к списку фонем русского литературного языка

Согласные фонемы

„Фрикативное г“

В русском литературном языке обыкновенно констатируют наличие особой фонемы, так называемого „фрикативного г“, т. е. звонкой параллели для фонемы „х“ (в русской транскрипции будем обозначать его „х^г“, а в международной «γ»). Старшее поколение употребляет его в таких словах, как *бога* (им. пад. ед. ч. будет *бох* в произношении), *господи, благо, благословить* и многих других. Это пережиток старого литературного произношения, которое пришло к нам из просвещенной Киевщины и которое сохранилось в словах, относящихся к религиозному обиходу. Однако молодежь его больше не знает, поскольку оно не нашло себе отражения на письме, и, по-видимому, нет никаких оснований его искусственно поддерживать, тем более, что оно легко может быть воспринято как южнорусский диалектизм. Во всяком случае, нет смысла затруднять им наших националов и всех иностранцев, изучающих русский язык, и, наконец, глухонемых.

Фонема „j“

Многим кажется неправильным отождествление того звука, который мы обозначаем в нашем правописании буквой *й* (например, в слове *край*), с первым элементом звукосочетаний, обозначаемых буквами *я, ю, ё, е* в начале слов, после гласных и после *ъ* и *ь* (например, в словах *я́ма, кра́я, объ́ятия, копы́я, ю́г, сою́з, адъю́нкт, вью́н, ёлка, приё́м, объё́м, копы́ё, ель, поё́ли, подъё́зд, в лады́ё*). При этом подчеркивается, что в первом случае мы имеем дело с неслоговым гласным, а во втором — с особым согласным, известным в западных языках под названием

* Собственно смешанным по артикуляции, т. е. с плоским укладом языка, является лишь неударенное *ы*; ударенный же его вариант представляет собою тип промежуточный между смешанным и задним, почему многие считают *ы* просто задним гласным.

** Называю фонему „а“ открытым гласным, так как именно этим качеством она противопоставляется всем остальным в русском языке.

йота (по-немецки *j*, по-французски и по-английски *y*). Во всем этом есть большая доля правды. Оставляя в стороне вопрос о фонетической природе того звука, который мы обозначаем в нашей письменности через *й*, как вопрос очень трудный и спорный, следует признать, что, действительно, в произношении первый элемент слова *я* (обозначим его через „*j*“) отличается от второго элемента в слове *ой* (обозначим его через „*й*“). Однако это различие стоит в непосредственной связи со слоговым строением: в начале слога, т. е. для русского языка всегда перед гласным, слышится „*j*“ („кра*j*-á, ма*j*-á, па*j*-ú“), а в конце слога, т. е. для русского языка всегда, когда он стоит не перед гласным, слышится „*й*“ („кра*й*, мо*й*, по*й*“); при этом „*й*“ в начале слога и „*j*“ в конце его в русском языке абсолютно невозможны. Из этого следует, что звуки „*j*“ и „*й*“ являются лишь вариантами единой фонемы. Который из них считать за главный? Так как все согласные в конце слога, будучи сильноначальными, а следовательно слабоконечными, в русском языке слегка редуцируются, то главным вариантом следует считать „*j*“, т. е. сильноконечный вариант нашей фонемы, который и будет в дальнейшем фигурировать как ее символ.

Распространенность мнения о необходимости различать в русском языке „*j*“ и „*й*“ объясняется тем, что семантизованное противоположение начальносложной и конечносложной фонемы „*j*“ нашло себе графическое выражение в русском алфавите, тогда как у прочих согласных фонем это же самое противоположение, не менее семантизованное, чем у фонемы „*j*“, алфавитно ничем не выражается. Ближе обо всем этом см. выше, раздел „Слоговое строение“.

Твердые и мягкие согласные

О твердости и мягкости согласных в наших грамматиках обыкновенно говорят так: в русском языке многие согласные могут быть твердыми или мягкими. Это понимается обыкновенно в том смысле, что некое „*л*“ вообще, некое „*т*“ вообще и т. д. могут быть твердыми и мягкими. Это, конечно, неверно, так как в русском языке не существует ни „*л*“ вообще, ни „*т*“ вообще, а существуют лишь „*л*“ твердое и „*ль*“ мягкое, „*т*“ твердое и „*ть*“ мягкое и т. п. Конечно, представители каждой подобной пары во многом сходны между собой, но ничуть не больше чем многие другие пары русских согласных, например: „*т*“ и „*д*“, „*п*“ и „*б*“, „*б*“ и „*м*“, „*д*“ и „*н*“ и т. д., и т. д. Во всяком случае подобно „*п*“ и „*б*“, „*д*“ и „*н*“ и другим согласным русские „*л*“ и „*ль*“, „*т*“ и „*ть*“, „*н*“ и „*нь*“ и т. д. являются вполне самостоятельными фонемами, так как могут стоять в одинаковых фонетических положениях и могут дифференцировать разные слова, как это явствует из примеров, приведенных выше в списке фонем. Неверное понимание сути вещей коренится, конечно, в смешении

звуков с буквами, т. е. в применении к звукам того, что справедливо по отношению к буквам.

В русском алфавите, действительно, вместо того чтобы каждую фонему выразить особой буквой, имеется по одной букве для каждой пары твердой и мягкой фонем. В этом большое практическое достоинство алфавита, но в этом и его теоретический недостаток, внушающий ложные идеи.

Возможность обозначения твердых и мягких согласных одной буквой сильно облегчена строем русского языка, в котором они очень часто чередуются друг с другом в разных формах одного и того же слова: „стол | на сталь-э“, „вад-а | вадь-э“, „сяд-у | сядь-эшь“, „сильн-ыј | сильнь-эјэ“ и т. д., а также при словопроизводстве: „черн-ыј | чернь-ить“, „лис-а | лись-иј“ и т. п. Во всех этих случаях перемена твердого согласного на соответственный мягкий создает видоизменения корней, семантически абсолютно тождественных: „стол-“ и „столь-“ (в *на столе*), „сяд-“ (в *сяду*) и „сядь-“ (в *сядешь*), „черн-“ (в *черный*) и „чернь-“ (в *чернить*).

Что касается сходства твердых и соответственных мягких согласных как с акустической, так и с артикуляторной точек зрения, то оно очевидно лишь у губных, у которых основная (губная) артикуляция остается неизменной, так как добавочная артикуляция, обуславливающая „мягкость“ звука, состоит в поднятии средней части языка к твердому нёбу. Во всех прочих случаях сходство затемнено в большей или меньшей степени благодаря взаимодействию основной и дополнительной артикуляций, оказывающихся обе язычными. Особенно далеки друг от друга „л“ твердое и „ль“ мягкое, „т“, „д“ твердые и „ть“, „дь“ мягкие; в меньшей степени — „с“, „з“ твердые и „сь“, „зь“ мягкие, „р“ твердое и „рь“ мягкое.

В применении к паре „л/ль“ это видно, между прочим, из того, что в некоторых славянских языках и диалектах (а у нас в русском у отдельных индивидуумов) „л“ твердое превращается в „у“ неслоговое, чего никогда не бывает с „ль“ мягким.

Что касается пар „т/ть“ и „д/дь“, то надо подчеркнуть, что „ть, дь“ у нас слегка приближаются к мягким „ць, дзь“.

Наивная немецкая транскрипция русского имени *Митя* будет «Mitzia», из чего следует, что для среднего немца русское „ть“ звучит скорее как „ц“, чем как „т“. Таким образом, оказывается, что развитие произношения мягких „т“, „д“ в русском идет в том же направлении, что и в белорусском. Точные исследования вполне подтверждают эти наблюдения.

Русские мягкие „сь, зь“ звучат несколько шепеляво. Нам это незаметно, как привычное, но становится заметным при сравнении нашего произношения с иностранным.

Наконец, „р“ твердое может быть более или менее раскатистым, если стоит не между гласными; „р“ мягкое — никогда. Кроме того, „р“ твердое в положении между гласными само при-

ближается к гласному („огласняется“, если так можно выразиться), а „р“ мягкое склонно к превращению в фрикатив (т. е. в шум трения).

Отличие мягких „кь, гь, хь“ от соответственных твердых не так велико, чтобы считать их уже не мягкими заднеязычными, а среднеязычными, как это некоторые думают: типичные среднеязычные, имеющиеся, например, в латышском, слишком характерны, чтобы можно было отождествить наши „кь, гь“ с латышскими среднеязычными «ķ, ģ». Однако основная артикуляция „кь, гь“ будет все же несколько отличной от артикуляции „к, г“. Что касается „хь“, то она диалектально действительно произносится как настоящий среднеязычный немецкий *ich-Laut*.

Так как нормально в русском языке перед гласными „и, э“ (т. е. «i, e») стоят лишь мягкие согласные, то может показаться, что мягкие согласные перед этими гласными фонетически обусловлены, тем более, что между ними действительно существует артикуляторная и акустическая близость: и для тех и для других средняя часть языка поднимается к твердому нёбу. Однако это оказывается безусловно неверным по отношению к мягкости согласных перед гласным „э“ (т. е. «e»): дело в том, что при русских мягких согласных язык поднимается к нёбу так же сильно, как при гласном „и“, а следовательно, гораздо больше, чем при гласном „э“ (т. е. «e»), а отсюда вытекает, что мягкость согласных перед этим гласным вовсе не является результатом живой ассимиляции. Эмпирически это подтверждается тем, что согласные „ш, ж, ц“ в русском языке нормально не смягчаются перед этим гласным: *наше* („на́шэ“), *коже* („ко́жэ“), *курице* („ку́рицэ“). Но и кроме того, никакого русского не затрудняет произношение слогов: „тэ, дэ, нэ, сэ, зэ“ и т. д. на стыке слов: *от этого, над этим, с этим, из этого, в этом, об этом* и т. п.

Что касается положения мягких согласных перед „и“, то хотя фонетическая зависимость здесь и несомненна, однако она оказывается обратной: после мягких согласных мы произносим „и“, а после твердых всякое „и“ превращается в „ы“, как об этом подробнее будет сказано ниже.

Фонемы „ш, ж, ц, чь“

Фонемы „ш, ж, ц, чь“ нормально не имеют в русском литературном языке параллелей по твердости и мягкости*. При этом „ш, ж, ц“ оказываются нормально твердыми, а „чь“ — мягкой. Впрочем, диалектально „ч“ произносится и более или менее твердо некоторыми лицами, в остальном говорящими вполне литературно (возможность такого произношения находится, конечно, в связи

* Что касается фонемы „j“, то она является артикуляторно мягкой по своей природе: она образуется сближением средней части языка с нёбом, что является характерным для всех мягких. Твердая параллель при ней принципиально невозможна.

с тем, что твердое „ч“ не используется фонологически). Однако рядом с „ш“, „ж“ твердыми у значительной части русских, говорящих на литературном языке, имеются еще самостоятельные двойные мягкие „шьшь“, „жьжь“*: *ищу* (в произношении одних „ишчю“, других — „ишьшю“), *гуща* (в произношении одних „гушчя“, других — „гушьшя“), *возчик* (в произношении одних „вошчик“, других — „вошьшик“), *щи* (в произношении одних „шчи“, других — „шьши“), *вижжать* (в произношении одних „вижжать“, других — „вижьжять“), *пригвозжу* (в произношении одних „пригвожжу“, других — „пригвожьжю“), *жжёт* (в произношении одних „жжот“, других — „жьжёт“), *вожжи* (в произношении одних „вожжи“, других — „вожьжи“).

Оба произношения — „шчь“, „жж“, с одной стороны, и „шьшь“, „жьжь“, с другой, — надо считать вполне литературными, а потому возникает вопрос о дополнении списка согласных фонем русского литературного языка двойным мягким „шьшь“ и двойным мягким „жьжь“. Это были бы фонемы, употребляемые не повсеместно и в сравнительно небольшом количестве слов, но тем не менее вполне выкристаллизовавшиеся в самостоятельные звуковые единицы: те, кто употребляют эти фонемы, вполне различают, например, слова *с жёнами* („жжонъми“) и *жжёнными* (квасцами) („жьжёнъми“), которые смешиваются в разговорном стиле лицами, не знающими двойного „жьжь“ мягкого. Первые различают слова *с шёлком* и *щёлком*, как „шшолкъм“ и „шьщёлкъм“, т. е. противопоставляя двойное твердое „шш“ двойному мягкому „шьшь“, вторые различают их как „шшолкъм“ и „шщёлкъм“, т. е. противопоставляя двойное твердое „шш“ звукосочетанию „шчь“**.

Однако произношения „шчь“ и „жж“ более отвечают грамматической системе русского языка. Дело в том, что фонемы „к, т“ чередуются у нас с „ч“, а фонемы „г, д“ с „ж“ твердым: *тыкать* | *тыч-у*; *стук* | *стуч-у*; *мет-ать* | *меч-у*; *крут-ой* | *круч-а*; *город-ить* | *горож-у*; *круг-а*, *круг-у* | *о-круж-ать*; *двиг-ать* | *движ-ут*; *глот-ать* | *глож-ут*; *город-ить* | *горож-у*. Кроме того, фонемы „с, з“ фонетически ассимилируются последующим „ш, ч, ж“, как это видно из следующих примеров: *без шести*, *без числа*, *без жира* (в произношении: „бешшэсти“, „бешчисла“, „бежжыра“). Поэтому при *иск-ать* вполне естественно ожидать „ишч-у“, а не „ишьшь-у“, при *воск* — „вошчь-ить“, а не „вошьшь-ить“, при *густ-ой* естественно ждать „гушчь-а“, а не „гушьшь-а“, при *пуст-ить* — „пушчь-у“, а не „пушьшь-у“ и даже при *визг-а*,

* Относительно двойных согласных вообще см. выше, раздел „Длительность отдельных звуков“.

** Впрочем, надо иметь в виду, что для доказательства фонологичности того или иного звукового противопоставления вовсе не нужно приводить омонимических выражений: вполне доказательной является уже возможность появления членов подобного противопоставления в одинаковых фонетических условиях.

визг-у и т. д. — „вижж-ать“, а не „вижьжь-ать“, при *брызг-ать* — „брыжж-у“, а не „брыжьжь-у“ и, наконец, при *пригвозд-ить* — „пригвозжж-у“, а не „пригвожьжь-у“. Учитывая все это и имея в виду наших националов, обучающихся русскому языку, иностранцев и глухонемых, я предпочитаю не включать двойных мягких „шьшь“ и „жьжь“ в основной список фонем русского литературного языка, сознательно предрешая этим до известной степени и орфоэпический вопрос. На это меня уполномочивает и современное состояние нашего правописания: букву *щ* мы можем считать и за дублет для буквосочетания *шт*, и за выражение двойного мягкого „шьшь“; но мы не имеем сейчас возможности отличить на письме двойное мягкое „жьжь“ от двойного твердого „жж“. Мы увидим далее, что все это можно переделать; но пока я считаю правильным не ломать здесь традиции нашего письменного языка.

Окончательное же решение вопроса надо предоставить компетентной комиссии, которая будет решать его в плане общей языковой политики и отнюдь не по поводу правописания.

Поскольку вся система русских согласных характеризуется их парностью по твердости и мягкости, постольку появление в ней простых мягких „шь, жь, ць“ возможно фонологически, и фонетически они также не представляют для русских никаких затруднений. Таким образом, они являются как бы фонемами в потенции, как бы „готовыми к услугам“ русского языка: свидетелями тому являются заимствованные слова вроде *брошюра, жюри, парашют*, которые произносятся либо на французский лад, либо как „брашьюра, жьюри, парашьют“¹³. С мягким „ць“ произносятся и такие собственные имена, как *Цюрих, Песталоцци, Цявловский* и т. д. Наконец, с мягким „ць“ произносится весь бесконечный ряд существительных на *-ция* (*революция, механизация, станция* и т. д.), прилагательные на *-ционный, -циональный* (*порционный, мобилизационный, рациональный, национальный*) и т. д.¹⁴.

Что касается фонемы „чь“, то при ней не наблюдается употребления твердой параллели в качестве особой фонемы, хотя потенциально это и вполне возможно, а в отдельных случаях при заимствованных собственных именах и желателно. Ср., например, китайское *Яньчэн* (о твердом произношении этой фонемы в литературном языке вообще см. выше).

Фонемы „кь, гь, хь“

Для многих спорным является вопрос о наличии в нашей системе фонем мягких заднеязычных — „кь, гь, хь“. Они появляются у нас почти исключительно лишь перед гласными „э“ (т. е. «е») и „и“, перед которыми невозможны твердые „к, г, х“, причем невозможны, впрочем, и сочетания „кы, гы, хы“. Однако произносительно они возможны в любом положении, кроме как перед „ы“, и встречаются в таких словах, как вполне литературные: *ткёшь*

(т. е. „ткь-ош“)*, *ткѣт, ткѣм, ткѣте* и как весьма распространенные разговорные: *жгѣт* (т. е.: „жгь-от“) и т. д., *секѣт* (т. е. „секь-от“) и т. д. Хотя в литературном языке таких форм и немного, однако и одной было бы достаточно, чтобы показать, что они вполне возможны и что появление или непоявление их в литературном языке ни в коей мере не стоит в связи с фонетикой. Сюда же относятся заимствованные слова вроде *гяур, Кяхта* и некоторые другие. О фонетической необязательности вообще русских мягких перед гласным „э“ (т. е. «е») было сказано выше. Это справедливо, конечно, и по отношению к русским „кь, гь, хь“. К примерам, приводившимся ранее, можно присоединить еще междометие *хе-хе!* в смысле „вот оно как“, которое произносится и с мягким и с твердым „х“ (в связи с чем иногда и пишется *хэ-хэ!*), заимствованные слова *кэб, кекс* и некоторые другие, которые по-русски вовсе не обязательно произносятся „кьэп, кьэкс“ (т. е. «k'ер, k'eks»), а могут произноситься и „кэп, кэкс“.

Однако самое главное доказательство наличия в нашей системе фонем мягких „кь, гь, хь“ состоит в том, что чередования „к || кь, г || гь, х || хь“ в целом ряде случаев морфологизованы („грамматикализированы“), входя в систему чередования твердых и мягких согласных при склонении и при спряжении: „рук-á | рукь-э́, наг-á | нагь-э́, блах-á | блахь-э́“**, как „вад-á | вадь-э́, гар-á | гарь-э́, слів-а | слівь-э“ и т. д.; „тк-ú | ткь-ош, жг-ú | жгь-ош“ и т. д., как „вед-ú | ведь-ош, греб-ú | гребь-ош“ и т. д. В конце концов можно даже сказать, что так называемые правильные формы „печ-ош“ при „пек-ú“, „теч-ош“ при „тек-ú“, „лж-ош“ при лг-ú“, „береж-ош“ при „берег-ú“ и т. д. являются литературными реликтами и при свободном (от письменной традиции) развитии языка давно были бы вытеснены формами: „пекь-ош“, „текь-ош“, „лгь-ош“, „берегь-ош“ и т. д. В детском языке вполне возможны такие образования, как *сух-ее, тих-ее* (вм. *суш-е, тиш-е*) и т. п. От *полóг-ий* не употребляется *полóж-е* и в разговорном языке всегда может сорваться *полóг-ее* и т. п.

Все это вместе взятое заставляет признавать безусловное наличие фонем „кь, гь, хь“ в системе русских согласных.

Мягкость и твердость согласных перед мягкими

Некоторым исследователям кажется, что в положении перед мягкими согласными противоположение твердых и мягких согласных в русском языке невозможно. Действительно, качество твердости и мягкости согласных безусловно хорошо воспринимается лишь перед гласными и на конце слов. Перед согласными же во многих случаях конец предшествующего согласного сливается

* Форма *тчѣшь* и т. д. воспринимается как диалектальная.

** Формы *руке, ноге, блохе* заменили более старые *руць, нозь, блохь*.

с началом следующего, благодаря чему в этом положении восприятие твердости и мягкости первого согласного становится менее четким, а иногда и вовсе невозможным* (ср., например, группы „ть, дль, трь, дрь“ в начале слова).

Далее надо констатировать, что некоторые согласные в процессе речи в той или другой мере ассимилируются по мягкости следующим мягким согласным, особенно склонны к этому „с“ и „з“ (ср., например, произношение слов *кости, гвозди*). При этом часть говорящих на русском литературном языке воспринимает получающиеся в результате ассимиляции согласные, как настоящие мягкие. Другая же часть вполне различает такие группы, как „сьтьи, здьи“, с одной стороны, и „стьи, здьи“ — с другой, где при полной мягкости предшествующего согласного в первом случае наблюдается лишь его „полумягкость“ во втором. Написания *косьти, гвоздьи, сьпи, зьмей, разьница, ресьница* и т. п. кажутся представителям этой группы говорящих по-русски не отвечающими их произношению.

Это становится особенно очевидным при четком произношении: подчеркнуто мягкое произношение первого согласного группы в этих словах оказывается решительно шокирующим, тогда как в словах *Кузьмич, бросьте* и т. п. оно звучит вполне естественно. Ср. еще произношение таких слов и словосочетаний, как *лезьте* („льэсьтьэ“) и *без лести* (= „бьэзьльэстьи“), *возьми* (= „возьмый“) и *змей* (= „змьий“); группы „сьть“ и „сть“, „зьмь“ и „змь“ в этих случаях никак не смешиваются для многих русских. Очень склонно к ассимиляции „н“ перед мягкими „ть, дь“. Однако и здесь нельзя сказать, чтобы все произносили одинаково группу *-онть-* в словах *зонтик* и *троньте* или группу *-анть-* в словах *в банте, станьте*.

Перед „j“ все согласные склонны к ассимиляции; ср. произношения „адьюнкт, адьютант“ вместо *адьюнкт, адьютант*; однако *подъезд, отъезд, изъезд* и т. п. вполне возможны и даже предпочтительны в полном стиле с твердыми согласными.

Что касается многих других согласных, то противопоставление их по твердости и мягкости перед мягкими фактически вполне возможно: *немки* и *немьки, лапти* и *лаптьи* (ср. повелительное наклонение от несуществующего глагола *лапить* — *лапьте*), *подковки* и *подковьки, дверь* и *дьверь, затмить* и *затьмить, фонаришк* и *фонарьшк* и т. д., и т. д. Если ко всем этим словам по историческим причинам не всегда имеются соответственные противопологающиеся слова или их части, то все же оба произношения настолько возможны, что во многих случаях является спорным, которое из них надо считать литературным.

Ассимиляция не обязательна даже при двойных согласных: при втором мягком первый не обязательно должен быть тоже мягким.

* Вообще условия восприятия твердости и мягкости согласных являются большим и мало еще изученным вопросом.

Нормально мы говорим слово *пленник* с двумя мягкими „нь“, но уже произношение „Аньне“, „в касьсе“ вовсе не обязательно, можно говорить и „Аньне, в касьсе“*. Что касается таких слов, как *оттепель, подделать*, то они произносятся „отътепель, подъделать“ и во всяком случае произношение с двумя мягкими согласными („отътепель“ и „подъделать“) в полном стиле было бы неестественным и даже смешным¹⁵.

Поскольку категория мягких губных находится, несомненно, в некотором упадке (ср. произношение *сем, восем, кров, сып* и т. д. вместо *семь, восемь, кровь, сыпь* и т. д.; ср. также разложение категории мягких губных в украинском и белорусском), постольку различие мягких и твердых губных перед согласными вообще не соблюдается: *вьюжный* и *въ южной* (стороне) произносятся одинаково, одними с мягким „вь“, другими с твердым „в“.

Наконец, надо отметить и то, что различие твердости и мягкости согласных перед мягкими согласными сравнительно мало используется фонологически в русском языке, хотя в очень многих фонетических положениях это было бы вполне возможно.

В связи со всем сказанным мне в дальнейшем придется, не предвещая орфоэпического вопроса, который потребует большого и тщательного предварительного исследования, в основном исходить из того состояния русского языка, которое отражено в письменном языке, т. е. я буду считать за норму произношения *кости, немки, дверь* и т. д. с фонологически твердыми, фонетически — полумягкими согласными, а *бросьте, возьмите, Кузьмич* — с мягкими¹⁶.

ГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ

Сочетания „ня, нё, ню; ля, лё, лю“ и т. д.

Многим кажется совершенно неправильным утверждение, что слоги „ня, нё, ню; ля, лё, лю“ и т. д. разлагаются просто на „нь + а, нь + о, нь + у; ль + а, ль + о, ль + у“ и т. д. При этом многим кажется, что слоги эти разлагаются на „нь + ја, нь + јо, нь + ју; ль + ја, ль + јо, ль + ју“ и т. д. Однако, если без предубеждения попробовать сложить эти элементы обратно, то получатся „нья, ньё, нью; лья, льё, лью“ и т. д. Так и получается у маленьких детей, знающих только буквы: более бойкие из них протестуют против того, что, например, *ль + я* (т. е. „а“) будет „ля“ (т. е. „ля“), я этому был много раз свидетелем. Они настаивают на том, что *ль + я* будет „льја“, т. е. *лья*, и написание *Галя* готовы считать ошибочным. Убеждение, что *л + я* будет „ля“, т. е. *ля*, можно вогнать в детей лишь авторитетным путем, и подобное утверждение в сущности ничем не лучше утверждения, что *буки + аз* будет „ба“. Практически оно гораздо

* Знак ъ употреблен здесь и в аналогичных случаях для обозначения твердости предшествующего согласного.

хуже, так как идет под флагом звукового (?!) метода. Насильственно внушенное нам в раннем возрасте убеждение, что при сложении звука „л“ со звуко сочетанием „ја“ (т. е. я) получается „ля“ (т. е. ля), является настолько прочным, что необходимо иметь очень критический ум и нужно потратить много труда, чтобы до конца разубедить себя в этом. Впрочем, людям, изучавшим иностранные языки, это дается значительно легче. В самом деле, наше л + я, например, по-немецки можно изобразить только как l + ja, а это и будет lja, т. е. наше ля, тогда как l (т. е. более или менее наше „ль“) + a дает la (т. е. более или менее наше „ля“)*.

Есть, однако, более тонкие люди, которые, вполне соглашаясь со всем только что сказанным, утверждают все же, что хотя в русском сочетании „ля“ и нет никакого „ја“ (я), но что гласный этого сочетания нельзя вполне отождествлять со звуком „а“. И это совершенно справедливо. В звуко сочетании ля, лё, лю и т. д. мы на самом деле произносим не чистые гласные „а, о, у“, а нечто вроде „а, о, у“**, т. е. „а, о, у“ с маленьким придатком вначале чего-то напоминающего звук „и“ (см., однако, последнюю сноску). Этот элемент никоим образом не может быть выделен или продолжен (удлинен) и является не отдельной фонемой, а лишь придатком последующих гласных (морфологическая граница никогда не проходит одновременно перед ним и после него). Однако наличие его, как показали точные экспериментальные данные***, не подлежит никакому сомнению. При некоторой тренировке эти „а, о, у“ можно научиться произносить отдельно.

Поэтому вполне естественно поставить вопрос, не являются ли эти „а, о, у“ самостоятельными фонемами. Поскольку, однако, эти звуки появляются только после мягких согласных и никогда не стоят ни в начале слов, ни после гласных, ни после твердых согласных, постольку приходится сделать вывод, что они являются лишь фонетическими вариантами соответственных гласных „а, о, у“, обусловленными мягкостью предыдущих согласных. Если бы мягкие согласные появлялись только в зависимом положении, скажем только перед „и“, а звуки „а, о, у“ встреча-

* Психологически подойти к пониманию состава наших звуко сочетаний „ня, нё, ню“ и т. д. может помочь сопоставление таких слов, как *копя* и *копья* (т. е. „копя“ = «кор’а» и „копья“, т. е. «кор’я») или *Коля* и *колья* (т. е. „Коля“ = «кол’а» и „колья“ = «кол’я») и т. п. Может помочь морфологический анализ прилагательных и местоимений с краткими окончаниями: *бел*, *бел-а*, *бел-о*; *папин*, *папин-а*, *папин-о*; *наш*, *наш-а*, *наш-э*; *синь*, *синь-а*, *синь-э*; *весь*, *всь-а*, *всь-ё* (точнее — „фсь-а, фсь-о“). Совершенно очевидно, что во всех этих случаях „j“ не участвует в образовании женского и среднего рода; йот же в словах „мој, мој-а, мој-о; твој, твој-а, твој-о; свој, свој-а, свој-о“ относится к корню и во всяком случае к основе слова.

** Точнее «*i*а, *y*о, *y*и».

*** Ср. мою книгу „Русские гласные в качественном и количественном отношении“.

лись, например, и в начале слов, то именно эти последние были бы самостоятельными фонемами, а мягкие согласные — вариантами соответственных твердых согласных. Такое положение вещей не невозможно при разрушении категории мягких согласных как самостоятельных фонем. Думается, что по диалектам такой путь развития кое-где и намечается; но для литературного языка об этом и думать не приходится, и звуки „а, о, у“, если они даже воспринимаются как таковые (а обыкновенно они не воспринимаются, и во всяком случае никто* не в состоянии их изолировать), безусловно не являются самостоятельными фонемами, и написания *я, ё, ю* после согласных вместо ожидаемых *а, о, у* имеют в виду лишь обозначить на письме мягкость предшествующих согласных.

Почти всё сказанное относится и к слогам *ле, те, де* и т. д., где буква *е* вовсе не обозначает „јэ“ (= «је»), как это имеет место в начале слов после гласных и после *ъ* и *ь*, например в словах: *ели, поел, съел, в ружье* (т. е. „јэли, пајэл, сјэл, вружјэ“). После согласных буква *е* обозначает их мягкость, параллельно тому, как буква *э* после согласных обозначает их твердость (*тема*, но *Анатэма*).

При этом звук „э“ после мягких в произношении тоже имеет маленький придаток в виде очень короткого „и“, так что звуки слова *сел*, например, в транскрипции следовало бы изобразить так: „сь^иэл“. Однако в данном случае не приходится говорить, что звук „э“ является вариантом фонемы „э“, так как эта последняя нормально так произносится и в независимом положении: *эта, эти, эва* (междометие), *экий*, в транскрипции „э^ита, э^итьи^{**}, э^ива, э^икий“¹⁷. Даже в иностранных словах мы также произносим наше э обратное в начале слов: *эхо, эпос, Эвелина* и т. д. (любопытно отметить, что собственное имя *Ева* произносится либо „јэва“, либо „э^ива“). Произношение всех этих и им подобных слов с чистым „э“ характеризует людей, хорошо знакомых с иностранными языками, где, разумеется, нет ничего подобного***.

Фонема „ы“

Подходим к спорному вопросу об „ы“: является ли оно самостоятельной фонемой или лишь оттенком, вариантом фонемы „и“, как это утверждал уже проф. Бодуэн де Куртенэ. Действительно,

* Конечно, кроме тех людей, в диалекте которых начинает разрушаться категория мягких согласных.

** Точка под знаком согласного в научной транскрипции обозначает его узкое произношение.

*** Причины такого положения вещей очевидны: собственно русских слов с твердыми согласными перед „э“ нет, кроме тех, где оно стоит после твердых „ш, ж, ц“ (*шест, жертва, целый*). Случаев с „э“ в начале слова исключительно мало, а после гласных и вовсе нет, если не считать слов заимствованных. Поэтому произношение „э^и“, которое фонетически оправдано после мягких согласных, являясь доминирующим, приобрело значение главного оттенка и в качестве такового естественно проникает и в независимое положение.

„ы“ и „и“ составляют настолько тесную пару, что механически заменяют друг друга в положении после согласных, причем после мягких может стоять только „и“, после твердых — только „ы“; противоположение *ы/и* является лишь фонетической функцией противоположения твердых и мягких согласных. Самые убедительные примеры находим на стыке слов: *с икрой* произносится „сыкрой“, *в игре* — „выгре“, *над избой* — „надызбой“, *этот извозчик* — „этатызвозчик“, сокращение исчезнувшего теперь термина *волисполком* (волостной исполнительный комитет) — „волыспалком“ и т. п. Случаев обратных, т. е. замены „ы“ через „и“, нет, так как нет слов, начинающихся на „ы“. Однако из морфологии можно сослаться на имен.-вин. пад. мн. числа, который оканчивается на „ы“ после твердых согласных и на „и“ после мягких, хотя это последнее не имеет никакого исторического оправдания. К сожалению, продуктивных суффиксов, начинающихся на „ы“, у нас тоже нет; но если бы мы вздумали по образцу *раб* | *рабыня* образовать женский род от слова *царь*, то сказали бы, конечно, *цариня*, а не *царыня*; от *вождь* было бы *вождиня* и уж никак не *вождыня*; от *князь*, если бы не было слова *княгиня*, образовали бы, конечно, *князиня* и отнюдь не *князыня*. Аналогичные соображения можно вести и по поводу суффикса *-ыня* в словах *пустыня*, *твердыня*, и по поводу суффикса *-ырь* в словах *пузырь*, *пупырь* и т. п. В конце концов и нет надобности во всех этих примерах, так как и так очевидно, что для русского соединить твердый согласный с *и* и мягкий с *ы*, т. е. выговорить „ди“ с твердым „д“ и „ды“, практически невозможно*.

Таким образом, „ы“ и „и“ как будто приходится признать вариантами единой фонемы, из которых главным придется признать „и“, поскольку „ы“ вовсе не встречается в независимом положении. Получается случай более или менее аналогичный тому, что мы наблюдали при звуках „ча, чо, чу“.


Однако интуитивно что-то мешает нам считать „и“ и „ы“ за одну фонему. И действительно, хотя в конкретных русских словах „ы“ никогда не встречается в независимом положении, тем не менее нас несколько не затрудняет его изолировать и в конце концов по аналогии с глаголами *акать, окать, экать, йкать* образовать глагол *ыкать* (пример Д. Н. Ушакова). А раз так, то уже трудно утверждать, что „ы“ не является особой фонемой, хотя появление его и является фонетически обусловлен-

* Однако в тех случаях, когда между согласным и гласным „и“ проходит словесная, а следовательно, и слоговая граница, возможны и сочетания твердого согласного с гласным „и“: „хо-дил-Иван“, „ка-коф-И-горь“, „мёт-и-са-ло“ и т. п. Но если слоговая граница не будет совпадать со словесной, то в сочетании с твердым согласным возможно только „ы“: „хо-ди-лы-ван“, „ја-ка-фы-гаре-вич“ (Яков Игоревич), „го-ра-ты-де-ре-вня“ и т. п.). Отсюда такое произношение переносится и внутрь слова на сочетания последнего согласного префикса с начальным „и“ и корня: *над-индивидуальный, без-идейный* и т. п. В конце концов не невозможны и произношения: *с-из-мальства, в-и-гре* и т. п. с сильно-начальными „с“ и „в“; но, конечно, *сызнова, выграх*.

ным в большинстве случаев. Как же объяснить получающееся противоречие? Несомненно, что когда-то „ы“ было вполне самостоятельной фонемой и вовсе не ассоциировалось с фонемой „и“. Оно могло также стоять в независимом начальном положении, как это может быть и теперь видно из глагола *об-ыкнуть*, который не обязательно продолжает *обвыкнуть*. Но в результате целого ряда фонетических процессов „ы“ ассоциировалось с фонемой „и“ и оказалось относительно него в определенных фонетических условиях. Это вполне подготовило почву для его окончательного слияния с „и“, но последнее еще не произошло, как это случилось, например, в чешском. Пережиточно „ы“ сохраняет свою самостоятельность, которая выражается в том, что при его продолжении оно вовсе не переходит в *и*. Следовательно, „ы“ в словах *сын, было* и т. п. обусловлено не только фонетически предшествующим твердым согласным, но и традиционно. По-чешски «*i*» после твердых согласных сначала тоже напоминает русское „ы“, но потом оно переходит в настоящее *и* (это особенно ясно при долгих *i*).

По-русски сколько бы ни тянуть *ы*, оно, и будучи освобождено от ассимилятивного влияния предшествующего твердого согласного, остается самим собою. Таково положение вещей в настоящий момент, а как дальше пойдет развитие языка — трудно сказать с уверенностью. Во всяком случае, нет оснований сейчас совершенно отказывать „ы“ в самостоятельности: потенциально оно может стоять и в независимом положении и может дифференцировать слова (*ыкать | ыкать*).





**ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ „СИСТЕМА УЧЕБНИКОВ
И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ“**

⌘ ПЕЧАТАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ. РУКОПИСЬ 1943 г. 18

1. В преподавании русского языка и литературы в средней школе надо различать следующие ведущие линии:

- а) обучение владению письменным литературным языком;
- б) обучение владению устным литературным языком;
- в) осознание правил, регулирующих нашу речь, и историческое объяснение исключений из них;
- г) обучение сознательному чтению текстов разных стилей;
- д) создание начитанности и привычки к чтению вообще;
- е) морально-политическое воспитание;
- ж) усвоение элементов истории литературы;

2. Владение письменным литературным языком достигается посредством изучения грамматики, посредством изучения безукоризненных образцов литературной речи и посредством соответственных письменных упражнений.

3. Владение устным литературным языком создается на почве овладения письменным литературным языком путем упражнений в устном пересказе, что должно происходить (и не может не происходить) на всех уроках школы, в том числе в первую очередь на уроках русского языка и истории.

4. Осознание правил нашей речи происходит путем изучения грамматики.

5. Умение понимать трудные тексты разных стилей создается посредством упражнений во всестороннем (языковом и литературном) анализе (под руководством учителя) разнообразных литературных образцов и посредством изучения элементов теории словесности.

6. Начитанность и привычка к чтению вообще создается посредством организации внеклассного чтения — обязательного и свободного.

7. Морально-политическое воспитание должно пронизывать все преподавание и осуществляться как на материале классного

чтения, так прежде всего и на материале внеклассного чтения (ср. „Воспитательное чтение“ П. П. Балталона).

8. Усвоение элементов истории литературы должно происходить на базе разборов литературных образцов (см. п. 5) и бесед по поводу материала обязательного внеклассного чтения (см. п. 6), подытоживаемых в последнем классе.

9. Для обеспечения активного овладения письменным литературным языком нужна преемственная серия учебников с I по VII класс. Ведущими в этих учебниках должны быть безукоризненные литературные образцы прозы нейтрального стиля, подлежащие всестороннему анализу и по возможности заучиваемые наизусть*.

В той или другой зависимости от этих образцов должны находиться сведения по грамматике, постепенно и непрерывно расширяемые и углубляемые с I по VII класс. В случае надобности эти сведения могут базироваться и на дополнительном материале образцовых литературных фраз (обязательно нейтрального стиля).

В связи с грамматикой должны стоять всякие грамматические задания и особенно задания по построению предложений, постепенно переходящие в задания по композиции.

В связи с грамматикой должно стоять и изучение словаря с заданиями по словообразованию, по логической классификации слов-понятий (родовые и видовые понятия, антонимы, синонимы в их нестилистических различиях и т. п.), а с IV класса и по стилистике (для всего этого ср. Carré, *Le vocabulaire français*).

С грамматикой должны быть связаны и правила орфографии и пунктуации с соответствующими практическими заданиями.

Материалом для заданий как по грамматике, так и по орфографии и пунктуации должны служить только безукоризненные по языку литературные тексты и отдельные фразы из них (обязательно нейтрального стиля).

Для повторения грамматики должны служить систематические учебники (см. ниже п. 12).

10. Книги для первых лет обучения должны в себе содержать образцовый и, кроме того, занимательный материал для упражнения в беглом чтении, а также материал для чтения и бесед по географии, истории и естествознанию.

11. Для развития умения читать более трудные тексты надо обеспечить преподавание с IV по X класс включительно серией сборников классного объяснительного чтения, где должны быть систематически подобраны совершенные литературные отрывки прозы и поэзии разных стилей и эпох. С ними должны быть

* В учебниках для младших классов должны быть даны для заучивания наизусть и красивые стихотворения, максимально простые по стилю, а также значительное количество басен Крылова (литературное „просторечие“).

связаны краткие сведения по теории словесности, а также задания для письменных упражнений.

Примечание. С внешней точки зрения учебники п. 9 и п. 11 могут быть, конечно, связаны в одной книжке: важно только выдержать в них эти две линии.

12. Кроме этих учебных книг, каждый учащийся должен быть снабжен, начиная с IV—V классов, во-первых, систематической грамматикой русского языка (без упражнений, но с образцовыми примерами) с приложением краткой теории словесности и, во-вторых, небольшим толковым словарем.

13. Библиотечка каждого класса, начиная с пятого, должна иметь свой полный толковый словарь и краткий энциклопедический.

14. Для обеспечения обязательного внеклассного чтения на каждые пять человек должны иметься все отдельные произведения целиком или хрестоматии согласно программе.

В круг обязательного чтения должна входить „Пионерская правда“ для младших классов и „Комсомольская правда“ — для старших.

Для обеспечения свободного внеклассного чтения библиотечка каждого класса должна иметь хотя бы по одному экземпляру книг (согласно особому списку).

15. Необходим краткий учебник истории русской литературы, который бы находился на руках у учащихся, начиная с VIII класса, но который систематически проходит лишь в X классе.

16. В библиотечку каждого класса должно входить несколько экземпляров сборников орфографических и пунктуационных упражнений, приспособленных для разных возрастов.

Эти сборники предназначаются для самостоятельной работы учащихся, нетвердых в том или другом отделе орфографии или пунктуации. Материалы упражнений этих сборников должны быть насыщенными и безукоризненными по языку.



ПРИМЕЧАНИЯ

К статье „О служебном и самостоятельном значении грамматики как учебного предмета“

¹ Это первая научная работа Л. В. Щербы, в которой он целиком находится еще под влиянием психологических концепций своего учителя И. А. Бодуэна де Куртенэ. Поэтому в статье не раз идет речь о представлении слова, представлении значений, представлении звуков и т. п. В дальнейших своих работах Л. В. Щерба постепенно оставляет эти психологические позиции и приходит к материалистическому языкознанию.

Вместе с тем в этой статье имеются интересные мысли об упрощении орфографии, которые и осуществились в 1917 году, о необходимости различения языка написанного и произносимого, о необходимости в связи с этим избегать смешения букв и звуков и др. Надо отметить, что от одной своей методической мысли — роли списывания при обучении орфографии — Л. В. Щерба в дальнейшем отказался (см. статью „Безграмотность и ее причины“, а также „Новейшие течения в методике преподавания родного языка“).

Кроме того, в начале статьи примеры на несоответствие языка в написании и в произношении даны Л. В. Щербой, естественно, в старой орфографии. Заменять их не стоило (хотя и в современной нам орфографии встречаются случаи такого расхождения), так как это нарушило бы перспективу, поскольку писалось в прежнее время.

К статье „О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слов“

² Статья касается в сущности не столько преподавания русского языка, сколько иностранного. Но так как в ней изложено довольно подробно учение Л. В. Щербы о стилях речи, что надо подразумевать под полным и разговорным стилем, то она и помещается в сборнике. В этой статье, как и в предыдущей, дана психологическая трактовка явлений языка, соответственно общему умонастроению Л. В. Щербы в тот период.

К статьям „Основные принципы орфографии и их социальное значение“ и „Новейшие течения в методике преподавания родного языка“

³ Названные статьи даны с некоторыми исправлениями. Дело в том, что стенографический отчет был напечатан почти без исправлений, с оборотами разговорной речи, иногда даже ошибками, что в ряде мест приводило

к затруднению понимания текста. Ввиду этого он был выправлен, а заодно исправлен и ряд мелочей. Разговорный стиль, столь характерный для устных выступлений Л. В. Щербы, разумеется, оставлен.

⁴ Книга, о которой говорит Л. В. Щерба, — Чернышев В. И., В защиту живого слова (СПБ, 1912).

К статье „Безграмотность и ее причины“

⁵ Статья печатается с незначительными сокращениями. Под „новыми методами“, очевидно, имеется в виду распространенный в то время в нашей школе так называемый лабораторно-бригадный метод с его разновидностями. Как известно, в дальнейшем этот метод был осужден и отвергнут.

К статье „И. А. Бодуэн де Куртенэ и его значение в науке о языке“

⁶ Работа Бодуэна де Куртенэ над редактированием 3-го издания словаря Даля проходила в период, предшествующий первой русской революции 1905 года и непосредственно следующий за ней (1903—1909 гг.). „Послесловие“, на которое ссылается Л. В. Щерба, написано Бодуэном в декабре 1908 года.

К статье „Сосна“ Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом“

⁷ Статья печатается с незначительными сокращениями.

⁸ *hen dia duoip* — греческое выражение, означающее „один через два“; имеется в виду одно понятие, выражаемое двумя словами, значащими примерно одно и то же.

К статье „О нормах образцового русского произношения“

⁹ Разумеется, под выковыванием нового произношения Л. В. Щерба понимает не что-то абсолютно новое, а говорит о тех изменениях, которые происходят в произношении, как это видно из последующего.

К статье „Современный русский литературный язык“

¹⁰ Л. В. Щерба употребляет здесь термин социальный диалект в смысле профессиональный диалект.

К статье „К вопросу о русской орфоэпии“

¹¹ Статья печатается впервые и, хотя она касается сравнительно незначительного вопроса, все же представляет большой интерес с точки зрения различия Л. В. Щербой полного и разговорного стилей, на что он неоднократно настойчиво указывает.

К статье „Теория русского письма“

¹² Напечатана с рукописи, которая представляет собой часть задуманной книги Л. В. Щербы, аналогичной книге И. А. Бодуэна де Куртенэ „Об отношении русского письма к русскому языку“. Это первая ее часть, по-видимому, не вполне законченная; очевидно, Л. В. Щерба предполагал еще что-то дать.

От второй главы первой части — „Русское правописание и его принципы“ — остались только незаконченные отрывки, которые очень трудно оформить для печати, поэтому она здесь не дается.

- ¹³ Современное произношение слов *брошюра, парашют* противоречит этому; сейчас произносится: *брошура, парашут*; слово *жюри* также предпочтительней произносить с твердым *ж*.
- ¹⁴ Произношение мягкого *ц* в суффиксах *-ция, -ционный, -циональный* сейчас не является литературным. Возможно, у Л. В. Щербы это какой-то остаток южнорусского произношения. Что касается трех иностранных имен собственных, то они произносятся тоже с твердым *ц*, за исключением людей, хорошо знающих иностранные языки, да и то только некоторых.
- ¹⁵ Сейчас при двойных согласных ассимиляция обязательна и сказать *Анэне, касэсе* было бы неправильно. Что касается слова *подделать* и др., т. е. слов, где двойной согласный стоит на стыке приставки и корня, то произношение твердого начала согласного вполне возможно. Только следует исключить отсюда слово *оттепель*, где даже и в полном стиле произносится мягкое начало; это объясняется тем, что приставка *от-* в данном случае уже не осознается нами как приставка, поскольку слова *-тепель* не существует.
- ¹⁶ С точки зрения орфоэпической это не так, как и говорит Л. В. Щерба. В слове *кости* и др. мягкость согласного *с* обязательна*. В слове *немки* и др. (т. е. перед мягкими заднеязычными) произношение с мягким *м* (в других словах с иным согласным) устарело. В произношении слова *дверь* и др. сейчас есть колебания: хотя орфоэпическим считается *дъверь*, но ясно заметна тенденция произносить *дэверь*; возможно, она и победит.
- ¹⁷ Такое произношение „э“ в начале слова сейчас уже исчезло, и вся молодежь произносит здесь открытое „э“ без дифтонгоидности. Произношение „цэ“ было свойственно старшему поколению и сейчас поэтому еще иногда встречается. В связи с этим следующее замечание Л. В. Щербы о том, что произношение „э“ (т. е. без дифтонгоидности) характеризует людей, хорошо знакомых с иностранными языками, для современного положения вещей неправильно.

К статье „Тезисы доклада „Система учебников
и учебных пособий по русскому языку
в средней школе“

- ¹⁸ Также печатается впервые. К сожалению, не удалось достать самого доклада, но и тезисы его, довольно подробные, представляют значительный интерес.

* Это ясно при обучении русскому произношению иностранцев, у которых смягчения нет: оно воспринимается как явно неправильное.

СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ АКАД. Л. В. ЩЕРБЫ

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

1. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании, „Известия АН СССР“, 1931.

2. Бодуэн де Куртенэ и его значение в науке о языке, „Русский язык в советской школе“, 1929, № 6, а также „Русский язык в школе“, 1940, № 4.

3. Очередные проблемы языковедения, „Известия АН СССР“, Отделение литературы и языка, т. IV, вып. 5, 1945.

РУССКИЙ ЯЗЫК

1. О служебном и самостоятельном значении грамматики как учебного предмета. „Труды 1-го съезда преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях“, СПб, 1904.

2. Опыты лингвистического толкования стихотворений. I. „Воспоминание“ Пушкина. Сб. „Русская речь“, I, Пгр., 1923.

3. О частях речи в русском языке. Сб. „Русская речь“, новая серия, II, изд. „Academia“, 1928.

4. Опыты лингвистического толкования стихотворений. II. „Сосна“ Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом. „Советское языкознание“, т. II, 1936.

5. Современный русский литературный язык, „Русский язык в школе“, 1939, № 4.

6. Литературный язык и пути его развития (применительно к русскому языку), „Советская педагогика“, 1942, № 3—4.

7. Теория русского письма.

ФОНЕТИКА

1. Субъективный и объективный метод в фонетике, „Известия Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук“, т. XIV, кн. 4, 1909.

2. Русские гласные в качественном и количественном отношении, СПб, 1912.

3. О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слов. Сб. „Записки Неофилологического общества“, Петрогр. имп. унив., вып. VIII, Пгр., 1915.

4. Транскрипция иностранных слов и собственных имен и фамилий, „Известия Комиссии по русскому языку АН СССР“, 1931, т. 1.

5. Фонетика французского языка, Л.—М., 1937; изд. 5, М., 1955.
6. Транслитерация латинскими буквами русских фамилий и географических названий, „Известия АН СССР“, 1940, № 3.
7. Фонетика, БСЭ, изд. 1, т. 58.

О Р Ф О Э П И Я

1. О нормах образцового русского произношения, „Русский язык в школе“, 1936, № 5.
2. К вопросу о русской орфоэпии.

О Р Ф О Г Р А Ф И Я

1. Основные принципы орфографии и их социальное значение. Первый Всесоюзный тюркологический съезд, Баку, 1926.
2. Безграмотность и ее причины, „Вопросы педагогики“, 1927, вып. 2.
3. К вопросу о реформе орфографии, „Русский язык в школе“, 1930, № 5.

Л Е К С И К О Г Р А Ф И Я

1. Русско-французский словарь, сост. Л. В. Щерба и М. И. Матусевич, под общей ред. Л. В. Щербы, М., 1939; изд. 4, М., 1955 (предисловие).
2. Опыт общей теории лексикографии, „Известия АН СССР“, 1940, № 3.

М Е Т О Д И К А Р О Д Н О Г О И И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Я З Ы К О В

1. Новейшие течения в методике преподавания родного языка: Первый Всесоюзный тюркологический съезд, Баку, 1926.
2. Об общеобразовательном значении иностранных языков, „Вопросы педагогики“, 1926, вып. 1.
3. О взаимоотношении русского и иностранных языков, „Иностранный язык в средней школе“. Методический сборник, 1934, вып. 1.
4. Общеобразовательное значение иностранных языков и место их в системе школьных предметов, „Советская педагогика“, 1942, № 5—6.
5. Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики, Москва, 1947.
6. Система учебников и учебных пособий по русскому языку в средней школе. (Тезисы доклада.)

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Предисловие	3
О служебном и самостоятельном значении грамматики как учебного предмета	11
О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слов	21
Опыты лингвистического толкования стихотворений. I. „Воспоминание“ Пушкина	26
Основные принципы орфографии и их социальное значение	45
Новейшие течения в методике преподавания родного языка	50
Безграмотность и ее причины	56
О частях речи в русском языке	63
И. А. Бодуэн де Куртенэ и его значение в науке о языке	85
Опыты лингвистического толкования стихотворений. II. „Сосна“ Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом	97
О нормах образцового русского произношения	110
Современный русский литературный язык	113
Литературный язык и пути его развития (применительно к русскому языку)	130
К вопросу о русской орфоэпии	141
Теория русского письма	144
Тезисы к докладу „Система учебников и учебных пособий по русскому языку в средней школе“	180
<i>Примечания</i>	183
<i>Список основных работ акад. Л. В. Щербы</i>	186

Лев Владимирович Щерба

Избранные работы по русскому языку

Редактор *Л. А. Чешко*

Художник *И. Д. Кричевский*. Художественный редактор *Б. М. Кисин*

Техн. редактор *Н. П. Цирульницкий*. Корректоры *З. И. Почева* и *В. А. Глебова*

Сдано в набор 1/X 1956 г. Подписано к печати 21/II 1957 г. 60×92¹/₁₆. Печ. л. 11³/₄ + 0,125 вкл. Уч.-изд. л. 11,82 + 0,04 вкл. Тираж 45 тыс. экз. А01423. Заказ № 1599. Цена без переплета 3 р. 25 к. Переплет 1 р. 50 к.

Учпедгиз. Москва. Чистые пруды, 6.

Министерство культуры СССР.

Главное управление полиграфической промышленности. Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова. Москва, Ж-54, Валовая, 28.